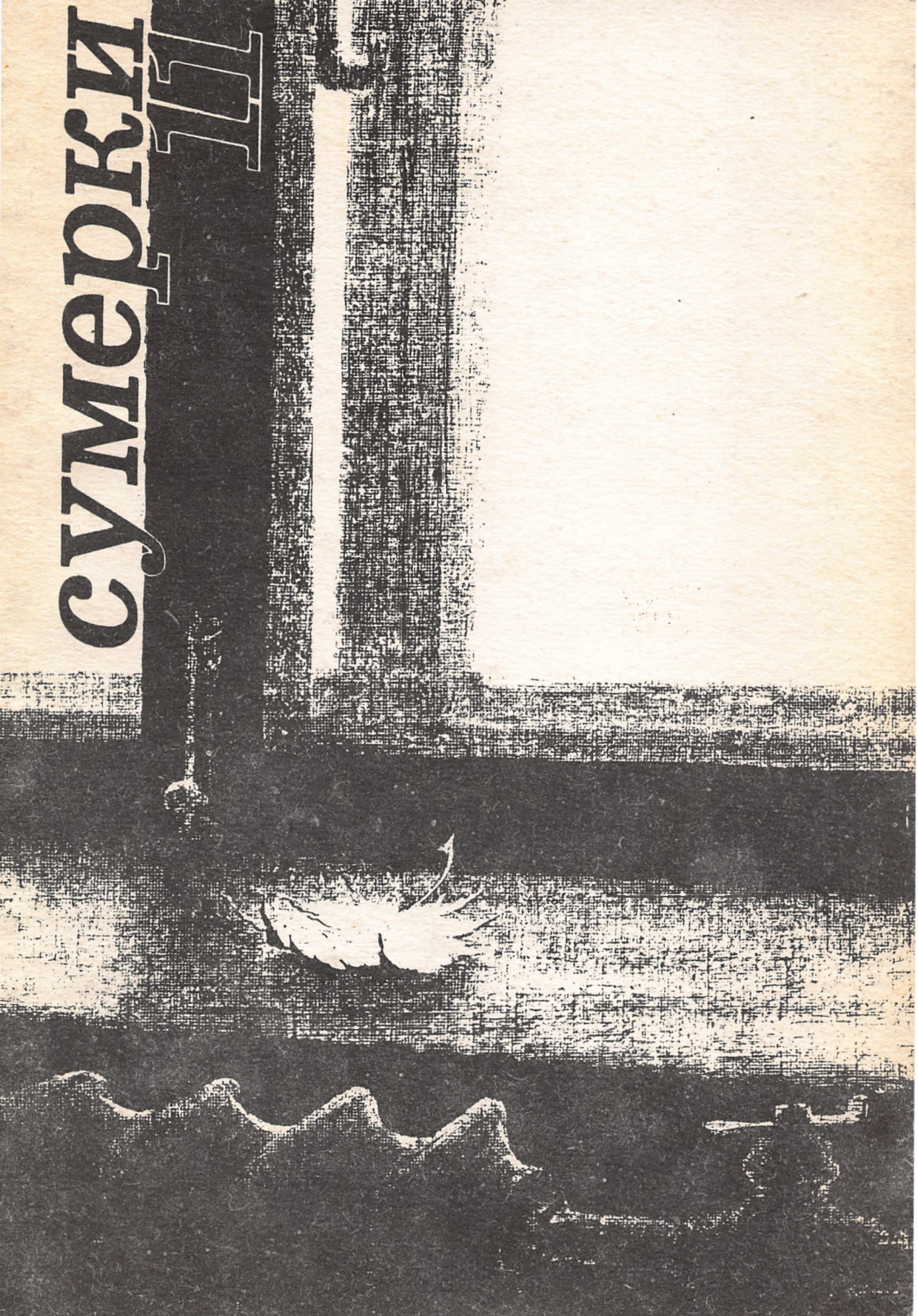


Сумерки III



Сумерки -

заря, полусвет: на востоке до восхода солнца, а на западе, по закате; (вообще) полусвет, ни свет, ни тьма; время, от первого рассвета до восхода солнца, и от заката до ночи, до угаснутия последнего солнечного света.

Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.



СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Ольга Мартынова. "...мир дрожит под коркой словаря"	4
Александр Ильенен. Абориген и Прекрасная туалетчица (выбранные места из либретто)	9
Арсен Мирзаев. Внутритворение реальности	42
Бахыт Кенжеев. Стихотворения 1989 года	47
Борис Вахтин. Дневник без имен и чисел	58
Алхимия	101
Лев Халиф. Пузенья.	66
Олег Юрьев. Стихи и Хоры	70

ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ

"Горожане" (Встречи в "Сумерках")	80
Михаил Талалай. К Белому озеру	119
Лариса Петракова. [Собор Рождества Богородицы]	135
Воплощение Акафиста в архитектуре Феррапонтова монастыря.	137

ЭТАЖЕРКА

Лев Аренс. Воспоминания.	143
Ольга Мочалова. Маргарита.	145
Марьяна Козырева. Маргарита Марьяновна Тумповская.	151
Лев Семенович Гордон	154
Лев Гордон. Три стихотворения	157
Сказка про Ваську Немешаева - питерского вора.	161

"НЕ ГОРОД РИМ ЖИВЕТ СРЕДИ ВЕКОВ..."

Дмитрий Григорьев. Дорога вдоль берега	167
--	-----

BOOKSTAND

Владимир Марамзин. Смешнее чем прежде	108
---------------------------------------	-----

СП

ХП90-П91

СПб

Журнал издается с 1988 года.



ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

* * *

Когда ребенок ищет в словаре
Случайно днем услышанное слово,
Он сбивчиво листает: "и", "эль", "ре",
Назад - вот "пе"...- и застывает, словно
Не список наспех вычитанных слов,
А свой цветной пластмассовый конструктор
Он погружает в непомерный лоб
И ищет смысл. А все протуберанец
То кажется созвездьем, то цветком,
То минералом, превращаясь зря
Во все слова, с которыми знаком.
И мир дрожит под коркой словаря.

И может быть, когда при свете дня,
При свете ночи, в свете сновидений,
В огне воображения, гоня
По кругу кровь, какой-то смутный гений
Вдруг застывает посреди души,
И человек, неся озноб вдоль ног,
Вдруг застает себя в такой глуши,
Где он не то чтоб даже одинок,
А не рожден, но будто бы врасплох
Его застали взрослые на стыдном -
Быть может, в это время в яйцевидном
Ядре сияющем, грызя карандаши,
Над буквой "че" о чем-то плачет Бог.

1990

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

I

Жизни взгляд через плечо,
Детства робкое скольжение
В нежной заводи глухой
Далеко и горячо.
В нашей жизни унижение
/ А не отдых и покой / -
Это жемчуг в черноте,
Зерна белые в навозе...
Дни нежнейшие - не те,
Что блестят в воздушной розе
Северных прозрачных утр.
Сокровенно унижение,
Жизни черный перламутр,
Детства робкое скольжение,
Жизни взгляд через плечо.

2

"ГДЕ ГНУТСЯ НАД ОМУТОМ ЛОЗЫ"

В узкой форточке хлопочет
Августа большая ночь,
Как павлины в зоопарке
Раскрываются кусты;
Гусеница строит кокон,
Чтобы стрекозе помочь
Оттолкнуться от пространства
И сказать дитяте: "Ты
Подойди поближе - омут
Как персидская сирень,
Для тебя она надела
Свой тяжелый сарафан!"

1990

ВЫРИЦА

Мир лоскутный, пестрядовый,
Он же - на экране сна,
Он же - светлый рай медовый,
Светлобокий, как блесна.
Мой растет неаккуратно,
Ходит рыба под водой,
И скрипуче, непонятно
Крикнет птица троекратно,
Не видна во тьме седой.

Дождь прошел, на листьях глянец,
Лужа через край течет...
Вдруг цыганка с возу глянет
И сережками качнет.
Воз проедет, и дорога
Повернет, и ночь придет.
Жизнь, уставшая немного,
Нити грубые прядет,

Время ткет. И пестрядовый
Мир приковывает взгляд;
На лоскутный рай медовый
Свой короткий, свой дешевый
Примеряет он наряд.

1985

* * *

Пустынен сад мой. Восковые пчелы
Жужжат, однако вовсе не движимы.
Рой слабых призраков едва сюда нагрянет,
Как сгинет. Даже голоса нажимы
Тускнеют. Здесь и дня нет.

Мой сад замкнул рехнувшееся время,
В рой слабых призраков оно оборотилось
И сгнуло.

1984

* * *

Полотнище в крупный горошек дождя
Висит между домом и садом,
Скрывая от нас изваянье вождя,
На дом наш глядящее задом.

А душен был день, и, когда разомкнул
Перун оловянные своды,
Наш маленький сад благодарно вздохнул -
Дитя многодетной природы.

А птицы в моем отразились окне,
Крича про душевные раны...
Цыганки-вороны, поведайте мне,
Где вороны ваши-цыганы?

1982

* * *

Даль воздуха и солнце сентября -
Зимы полынной золотое семя.
Деревья опустили якоря
В прохладные и полные поля,
Где желтым клювом полыхает время.

Как я вхожу в дома - здесь в сентябре
Какими меня потчуют дарами,
Как в яблока зеленой коже
Железный аромат ловлю ноздрями...
И наконец почти что навязав
Себе небытие и изобилье,
На времени распластанные крылья
Гляжу, как на Иакова Исав.

1984

В. Шубинскому

Сюда сквозь расщелину масляной ночи
С Востока взирают закрытые очи
Немилых Украине раввинов,
А с Севера смотрят летящие козы,
Любовники держат увядшие розы,
Как будто, из пламени вынув
Горящую скрипку, скроенный из праха,
Из неги субботней, из вешего страха
Стоит здесь Невидимый Кто-то.
А южное небо в таинственных знаках,
А кровь неотмщенная плещется в маках,
И тянется мертвая нота.
И плещутся в этом ее клокотанье
Казацкие тени веселой Украины,
Андрей со своею изменой;
Пузастые дети, глазастые вишни,
Турецкий султан и лиловый Куинджи,
И Гоголь - один во вселенной;
И дурень, что бросил беленую хату,
И черный бунчук богоданного ката,
И череп коня со змеею;
И ветер отравленный тихо колышет
Ковыль. И очами печальными вышит
Правоздух над этой землею.
Украина! Твои москали и поляки,
Жида и татаре - лишь вечные знаки -
Сойдутся для детского плача
По той первобытной отчизне-чужбине,
Что в белых полях затерялась, отныне
Ни жизни, ни смерти не знача.

1990



АБОРИГЕН
И ПРЕКРАСНАЯ ТУАЛЕТЧИЦА
Выбранные места из либретто
Соч. А. Ильенена



Я сказал майору: вы из службы сделали балаган! Этот балаган стоит в тундре. Весной над разноцветным куполом юрты-балагана пролетают с курлыканием журавли, а летом вокруг балагана цветут желтые пушистые цветочки. Они, болотные эти цветочки, радуют взор девушки-делопроизводителя, когда та отводит осторожно полог, щурясь от весеннего солнца.

Майор, быв. сибирский офицер, одет как мальчик в старые времена: в матроску, короткие штанишки, гольфы. Он катается на деревянной лошадке. Когда карусель, что стоит посредине кабинета, останавливается, девушка-делопроизводитель ставит на патефон новую пластинку. Что за музыка? не понять...

Карусель вновь медленно начинает крутиться, наш дитя-майор весело смеется. Его жена, вольнонаемная СА, приносит завернутые в салфетки бутерброды. Он съедает их не слезая с лошадки. Девушка-делопроизводитель подает ему чай и возвращается к столу, чтобы поменять пластинку.

Магнитофона уже нет - его унес капитан к Лизе. А бывало он скрашивал длинные зимние дни нашей службы в этом балагане.

Дверь осторожно открывается: входит наш начальник. Новый подполковник, еще осторожный, не знающий как толком себя вести со всеми. Улыбается. На ложноприветливом фейсе щегольские усики. Не упадите, говорит инфантильному майору. Тот в ответ глупо улыбается.

Французы на своем сленге называют патронов обезьянами. Я вспоминаю об этом и улыбаюсь. Девушки-делопроизводители тоже почему-то вдруг улыбаются.

А карусельная музыка все играет. На нашей службе тепло; а за стенами мороз. Тепло и весело. Вот девушка-делопроизводитель надела кроличью шубку и вышла из кабинета, чтобы купить майору мороженого, которое продается студентами в лотках, рядом со службой.

Печатается с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

У меня уже от кружащейся карусели идет кругом голова. Выдумую предлог и уйду... Да: пойду проведать Алену Василькову, которая работает на Фонтанке, в библиотеке.

Алена - моя confidentка. Она такая же как я аборигенка. Василькова - это придуманная фамилия. На самом деле, она Руйскауноки Алина. Какая разница, ей богу: руйскауноки это тоже василек. Мы с ней потомки племени саввакотов, которые пришли по преданию с Севера, из так называемой коренной Финляндии ок. шестнадцатого века. Вместе с эврейскими. Это другое племя.

Говорим мы, разумеется по-русски, потому что аборигенского языка своего не знаем. Я-то малейшее понятие имею, а она никакого. Не в этом дело.

Я ей жалуясь как турок на службу: тяготы и лишения. На начальников. Она сидит у огромного окна, в кресле, с шалью на плечах. Живописная!

Я ей жалуясь на трудную толмаческую и офицерскую судьбу. На бывшую фехтовально-гимнастическую школу им.Ленина, где служу. Сколько соблазнов: юных тел! В бассейне, напр. Или: в душе моются совсем голые. Или летом бегают по стадиону.

Алена меня понимает. Улыбается.

Я расспрашиваю ее о Полине Маковой, нашей общей знакомой, она тоже ходит к мэтру в его сенакль. Собирается писать повесть. Интересуюсь у Алены судьбой девушки-поэта, которую сослали в Новгород. Как она там бедняжка?

Давно нет никаких известий от нее.

А что, Алена, почитай мне стихи! Алена достает из стола листки и читает. Потом мы пьем чай и идем навестить старуху-аборигенку, Аленину родственницу живущую неподалеку на Фонтанке, в доме с арками и фонарями.

Старая чухонка говорит: все равно война будет.

Без злорадства, без веселости эсхатологической, а как будто со знанием дела, будто бы пророчествуя: все равно война будет! Пряди седые спадают на лоб.

Она не боится страданий: кажется все выстрадано. А с невозмутимостью ждет катаклизма как инки или ацтеки. Родственников почти не осталось: погублены, вымерли. Окружают старуху соседи-конквистадоры, грозят крестить огнем и мечом, рушат ее древние устои, искореняют ее уклады. Грозят разрушить страшных и любимых идолов с губами в крови...

Херраюмала, вздыхает старуха.

Комната завалена коробками, бутылками, свертками: припасами на случай войны.

Я не святой Себастьян! Если б мне принадлежало такое красивое тело, то давно бы уже стал мучеником. Давно бы уже в меня стреляли! Или истязали изощренным способом, как водится.

Но, слава Богу, меня не привязывают к столбу и мое тело не пронзают стрелы!

Меня не бросают в ров с львами.

У меня своя участь. Я не избегаю другого: без палача и плахи поэту на земле не быть.

Рассуждаю, возвращаясь из музея, где на Венецианской выставке видел удивительно красивых мучениц и мучеников. Нет у меня мазохистических настроений: вот бы и меня так! Наоборот, бродя от картины к картине, с трепетом думал: да минует меня чаша сия! Додумался до спасительного: Господни страстотерпцы были прекрасны собой, а я...

Вот и ворота моего военно-воспитательного заведения.

Вхожу с кротким лицом. Само смирение. Весь во власти настроения, полученного на выставке. Майор с недоумением смотрит на меня смиренного. Они привыкли видеть во мне тореадора. Эти глупые и сильные животные: огромные и кажущиеся неуклюжими тела, с гладкой и приятной для касания рукой кожей... Они совсем не свирепые, если их кормить и не дразнить. Но если им досаждать: я вижу рядом с собой налитые кровью крупные глаза. Можно подумать, что раздражать их доставляет мне удовольствие, носиться по арене службы с красной тряпкой, размахивать перед мордами, уклоняться от ударов...

И Алена видит во мне бесстрашную и гибкую фигурку с серебряными позументами: зеленая лужайка, орудие трибуны и я раскланиваюсь держа красный лоскут в руке. Служители уносят с арены тушу быка. Нет, нет я против таких кровавых развлечений. Я не тореадор!

Может быть я играю роль красного лоскута.

Раскрываю книгу и погружаюсь в чтение: Маркиз де Кюстин "Письма из России".

Я себя воображаю (сочиняю, придумываю) пустынным.

Или странником. Живу в бочке.

Это так понятно: как философ. До обидного просто.

Но это так удобно! Я видел однажды в архитектурном журнале эскиз загородного дома (коттеджа) сделанного в виде бочки.

Потом: во мне живет бестиарий. Это тоже как и бочка не мое изобретение. Это я читал недавно Аполлинера и нашел у него известный цикл "Бестиарий". Там и лошадь, и Певец, и рыба и обезьяна... Это мне показалось очень забавным!

Я когда-то начинал писать роман под названием "Записки сумасшедшей лошади". Меня вдохновила известная фраза Пушкина о переводчиках: мол, лошади просвещенья! Ха-ха.

Я стал сочинять про переводчика-офицера, который сделался безумным, потому что стал писать стихи...

Еще я воображал свою бочку в виде башни. Разумеется Флобера! Я собираю самые общие места, уже более "обще" некуда. Это и есть мое современное искусство: поп-арт. Да массовое искусство, в традициях американца пятидесятых годов с банками из под пива. Что ж, как говорит мэтр, неплохо...

Я стесняюсь читать про бочку, т.е. башню, про обезьяну, лошадь, попугая - это все я! про Орфея, это тоже я...

Попугай - потому что это мое ремесло - повторять. Обезьяна: от моей страсти к театру. Лошадь - это переводчик.

Я сочиняю без дальних умыслов, по пушкински. Можно сказать: для себя.

Когда я учился в Лефортовской слободе, на Яузе, недалеко от ликерки, то любил такое место уединения как лазарет. Там я предавался моим мечтам, кое-что уже записывал и даже сочинял стихи. Это были послания, в виде од и элегий. Одно из стихотворений было написано по случаю посещения меня моим другом Базилем, натурой тонкой и одухотворенной, ему же было посвящено другое стихотворение "Воспоминание о поездке в Переделкино".

Тогда же я стал писать Мемуары на французском языке.

А если гибель предстоит?

- Да вы наверное все на облаке летаете.

А я смотрю за окно, где льет дождь. Вчера я не слышал ничего, а теперь слышу как идет за окном дождь. Откуда-то издалека: из-за облаков что ли до меня

этот вопрос долетел. А я стою в кабинете, он сидит в том же кабинете на маленьком мягком диване в крайне неудобной позе. Он из себя весь такой военный: осанка, взгляд. Сидит вполоборота, повернувшись в мою сторону

и облокотясь на узкий полированный подлокотник диванчика: щегольские усики на фейсе моего нового начальника. (Презний начальник погорел на любви: завел роман с одной молодой дамой службы, вольнонаемной привлекательной особой. Нет повести печальнее на свете! Моего начальника - первого!- потихоньку удалили из теплого кабинета. Адью, адью. Вы знаете как это происходит: "наутро вызывают меня в политотдел..." ет сестера!) Он сам того не подозревая, задалвопрос по существу. Испытующе смотрит на меня, думает, что с карманным фонариком можно в потемках моей души все рассматривать, все там высвечивать! Вопрос остается без ответа. Фонарь держу за спиной. Посмеиваюсь: вижу обезьяну, которая высунула голову из бочки, повисшей в пасмурном небе, и гримасничает, изображая моего нового начальника. Я не слышу, что отвечаю смешному начальнику. Он себя не видит: передо мной начальственная птица, которую всю разнесло от важности, от собственной мнимой значительности. Он наверное думает, что я от смущения пытаюсь отвести глаза от места, где он сидит. Нелепо разговаривать с индюком (или павлином!) который вообразил себя военным чиновником!

Орфей что-то поет, а конь бьет в нетерпении копытом.

Делаю учтивое лицо, придаю ему особенно верноподданническое выражение чтобы понравиться индюку (в чине подполковника!). Это забавляет обезьяну, она дергает певца и показывает на меня пальцем. Среди шума дождя раздается ржание лошади. Меня с миром отпускают. Обо мне составлено поверхностное очень нелестное впечатление. Этим я обязан майору, который присутствовал при сцене знакомства.

Тайно сердце просит гибели

Обезьянка наша милая веселая простудилась, а еще вчера она так на снегу кувыркалась. Сибирское царство!

Орфей повесил лиру на крюк, там где висел фонарь. Я ушел на службу, освещая себе дорогу этим фонарем.

Крылатого коня не запрячь в телегу - мешают крылья, он лежит в бочке и

Слова из курсантской песни; помню только один куплет:

наутро вызывают меня меня в политотдел:
-что же ты собака вместе с танком не сгорел?
я вам обещаю, я вам говорю -
в следующей атаке обязательно сгорю

жует овес или сено. А военный чиновник с фонарем садится в трамвай и едет на службу.

Капитан вернулся из столицы, где он был по своим делам. Я не стану расспрашивать, что он там делал, с кем встречался: это не в моих правилах. Если захочет сам расскажет. Он это сделает, я уверен в этом, сегодня вечером, когда мы соберемся у мужа балерины. А пока мы сидим здесь в кабинете и каждый делает вид, что занят делом. Майор вот что-то хандрит: он надел шаманский костюм, но вместо того, чтобы выскочить на середину кабинета и закричать хриплым голосом и совершить ритуальное действие, он сел на стул в угол кабинета, за шкаф и опустив голову, в меховой шапке и с бубном в руке горько плачет. До меня доносятся всхлипывания майора, шепот... Капитан подошел к нему и что-то говорит, наверное утешает: немногословно, по-мужски... Девушка-делопроизводитель очень расстроена, с ней может случиться нервный криз. Надо ее утешить! Я встаю из-за стола и направляюсь к ней, увожу ее в дальний угол кабинета, говорю несколько слов тихо-тихо: она начинает беззвучно плакать... До нас доносятся рыдания майора... Он плачет все тише, видно капитан нашел утешительные слова! Девушка смотрит за окно. Я чувствую, что мое присутствие и успокаивает и вместе с тем сильно волнует ее. Даю ей воды и начинаю рассказывать про гейш, зная, что мои рассказы про гейш в свое время действовали на нее, уводили от действительности. Я сам пытаюсь представить ей гейшу за утренним туалетом, передать все движения: плавные, изящные, неторопливые... Вот она подходит к низкому столику с зеркалом, садится перед ним, берет баночку с рисовой пудрой, кисточку. Описываю подробно все, что находится на столике перед зеркалом. Рассказываю о том, какие мысли ей приходят при совершении утреннего туалета, что она видит за окном: снег и девушек под разноцветными зонтами на бамбуковых палочках... Наша юная гейша вспоминает о визите молодого врача из Киото (это ее возлюбленный), она сидит перед зеркалом с распущенными волосами, сладкая улыбка застыла на белом лице, а золотая шпилька, подаренная ей молодым врачом, упала на пол...

Как страшно!

Кругом сугробы тяжелые, громоздятся белые, а луна на небе желтая. На службе плачет майор, который уже день. Бедный военный чиновник сидит на стуле у окна, там где стоят цветы кабинетные, их поливает обычно девушка-делопроизводитель... Кстати она и сейчас стоит с кувшином, соби-

раясь поливать их, но плачущий майор мешает ей подойти к окну. Она не просит его ласково: мол подвиньтесь, или пересядьте, пожалуйста... Она наклоняется к подоконнику, выгибая шею, ножку при этом поставив на носок: как бы не замочить майора... С кувшином наклонилась к цветочкам полувядышим и поливает их.

Майор, который день уже придя на службу плачет, не сняв шинели, лишь шапку тяжелую устало положив на стол. Я вижу, что и участливая девушка страдает, переживает вместе с ним. Но майор не из таких, чтобы вызывать сочувствие исповедями, он ни слова не проронит, а будет вот так сидеть у окна и плакать тихо, лить свои горькие слезы. Мне, по правде говоря, не испытывающему особых чувств к этому военному чиновнику, тоже становится не по себе. Вид плачущего уже вызывает у человека способного страдать и плакать отклик в душе. Еще несколько дней назад он лихо тряс бубном и шептал страшные заклинания. Наверное его навестили из тьмы злые духи, они мстят и терзают майора. Девушка-делопроизводитель полила цветы, неслышным шагом подошла к майору, погладила его по голове и тотчас же удалилась к своей машинке. Ему же от этих знаков сострадания еще стало горше: он своей тяжестью оперся на подоконник, голову тяжелую обхватил руками и затрясся...

Я не мог больше оставаться в кабинете и дожидаться пока с майором случится страшная и дикая истерика. Надев шинель я быстро вышел в коридор. В ярко освещенном коридоре толпились люди и мне не удалось выйти со службы незамеченным. Пришлось сказать нездоровым, и не выслушав даже мнение старшего военного чиновника побежал вниз по лестнице, как будто с чердака, а не из подвала.

Пока я ехал на трамвае, к вокзалу, в надежде встретить в буфете Алену, я думал о судьбе майора, в недавнем прошлом черствого, глуповатого военного чиновника, о непонятных и таинственных превращениях: о шаманстве, слезном даре, так повергшем меня в изумление.

Жалуюсь Алене на то, что бездарно трачу время в служебном кабинете. Как Акакий Акакиевич военный, или Поприщин! У Акакия Акакиевича, по крайней мере, мечта была: шинель! У меня же и мечты нет: есть шинель!

И совсем не дорожу ей: напади на меня грабители на канале, новую получу на складе...

Я по природе игрок, в театральном смысле исключительно. И родился я в квартале Достоевского. Помню, идем с бабушкой на Кузнечный рынок, там морошку продают, цветами торгуют. Шесть копеек тюльпан... К чему вся эта лирика, эти воспоминания...

Живу от среды до среды: по средам мэтр собирает свой сенакль. Скоро я буду читать из нового своего романа. Нового романа... Можно подумать, что их у меня написано множество. Нет, в тетради записи так называю... Мне кажется, что то чем я занимаюсь - т.е. сочинительство, это безумие... Завидую даже тем кто не пишет, а просто служит. Как наш веселый капитан. Я же: лишился веселья... Только что чести моей не хватало еще потерять. И все-таки: от среды до среды живу. Там, в сенакле у метра как оазис среди пустыни будней. Среди пустыни службы моя тетрадь - колодец.

Какой сентиментализм однако!

Мне не стыдно исповедоваться перед Аленой: я ей многое из тетради читаю.

Сейчас занят сочинением "романа".

Вот что я прочитал Алене:

Они давно меня томили (роман)

Д.К.

Они давно меня томили

Мою шею оплели белые водяные лилии на длинных темно-зеленых стеблях. Я только что выплыл из омута и сушил свою мокрую одежду сидя на парапете у подземного перехода на Невском проспекте.

Я сушил свои ризы, а вокруг меня и мимо ходил бомонд и глумился надо мною.

Некоторое время до всплытия, когда я сидел на дне омута, а моя пустая бочка подобно громоздкому дирижаблю висела в июльском небе, мой безумный друг стал превращаться в птицу произнося магическое слово "вуд": кругом были цветы, а он в это время шел по темной аллее.

Проходившая по той же аллее собака приветствовала чудесную метаморфозу негромким отрывистым лаем. До этого мой безумный друг поведал мне Историю о прекрасной туалетнице. Ее звали Лиза, ей было неполных шестнад-

цать лет, она жила и работала при общественном туалете у Литераторских мостков. Она разбила несколько клумб, где росли изумительной красоты цветы, а в окнах туалета круглый год цвели розы и тюльпаны в горшках. Больше я ничего не помню из этой удивительной истории. Но впечатление от услышанного было настолько сильным, что мой безумный друг, проходя мимо Каткиного сада, вечером, когда уже были сложены огромные зонты, спросил меня: что с тобой?

В тот вечер - я не помню он был или не был - девушка в голубой куртке, охваченная безумием, но скрывавшая это, шла рядом с юношей, который ничего не замечал. На крыше дома на той стороне улицы мы прочли: Отель д'Эроп. Есть от чего помрачиться разумом.

Д.К.

Где мой милый я мог простудиться?

Не в нашем же театральном болоте, где все от кривых берез, до кочек и мягкого мха - все бутафория. Даже лица их сделаны, признаюсь тебе, из папье-маше! Но что страшно и удивительно - быть живым, вернее чувствовать в себе голос крови, видеть и понимать, ну хотя бы догадываться о происходящем и быть занятым в спектакле! В действе сем постыдным участвовать более не желаю! Этот крик души гложет, не вылетев даже из меня, застывает в горле или даже, не родившись в мысли, умертвляется другой мыслью, летящей блестящим копьём - и кровь льется и вот она умирает... Эмбрион слова, убиенный, вываливается в сверкающий эмалированный таз, где кровавые марли. Так я безмолвствую. Хотя я все не о том. Хочу просить тебя об одном одолжении, думаю, что это не очень тебя обременит. В одно из воскресений намерен пригласить тебя для позирования! Да-да, не удивляйся, а исполни волю болящего. Краски я купил уже. Краски дешевые, акварельные, те что дети используют на уроках рисования. Недалеко от службы, напротив церкви малинового цвета есть маленький канцелярский магазин. Впрочем, разве это важно! Я страдаю - болею - на верное простыл... Ноги все время мокрые... Добился освобождения на три дня! Я знаю, что ты скоро уезжаешь, пусть ненадолго, но все же... Кто знает! Бывает и так, что уезжают на три дня... Подумать страшно! Короче, я решил: пусть напоминанием обо мне останется мой портрет. Так сказать

портрет художника в молодые годы. Вижу себя сидящим на маленьком балкончике, вдали Нева. Справа и слева минареты труб. Почему-то на память приходит известный портрет (видел в музее) чахоточной женщины, которую привезли умирать на юг. Помнишь, на белом мраморном балконе, в кресле сидит она, там - море, пальмы, глицинии ет сетера. У меня есть кактус, который обещает цвести маленькими веселыми цветками. Его то мы и поставим вместо пальм, кустов роз и глициний, чтобы оживлял хмурое небо и разнообразил безрадостную флору Севера. С задумчивым лицом ты изобразишь меня... Думаю о замысле нового романа. О Прекрасной туалетнице, например, или о Девушке-дворнике, об их прекрасной судьбе, нелегкой, но прекрасной. Не век же им горе мыкать, несмотря на красоту души, грезы, даже может быть благодаря им они сумеют найти дорогу к счастью. А я им помогу. Жду тебя, мой милый, а пока пребывай в добром здравии!

Молчите проклятые струны

Плетусь в свой офис с тяжелой головой: не выспался совсем. Целую ночь Орфей брнчал на лире, хотя я просил его повесить лиру на стену, туда где гвоздь торчит. Мольбы мои до певца не дошли... Иду и спотыкаюсь, так спать хочется. В кабинете может выплюсь на стульях, когда все уйдут на обед. Нет ничего не выйдет: майор достает из портфеля сверток с колбасой, горчицей и хлебом. Нагреет себе чаю, чтобы в столовую не ходить - какой сноб, посмотрите! А я пойду в столовую Военторга, где выстроятся офицеры с вольнонаемными. Майор делает плаксивое лицо, наглый, бессовестный майор - будет просить о чем-нибудь, хотя знает наперед, что все его просьбы и поручения выполняются мной крайне небрежно, не в срок, если вообще выполняются. Он начинает объяснять мне какие задания получили девушки-делопроизводители, сколько скопилось разных дел, показывает рукой на стол, где в беспорядке разбросаны бумаги. Я даже не слушаю его объяснений, пытаюсь заговорить с одной из девушек. - О чем разговор, сейчас выезжаю, бросаю майору, чтобы отстал от меня. Беру бумагу, прячу ее в портфель, сажусь за свой стол и продолжаю читать роман. Но вместо того, чтобы следить за интригой, начинаю думать о судьбе Казанского царства, о его бесславном декадансе. Думаю даже написать роман, действие которого будет происходить в период расцвета Золотой Орды. Но эти казанские люди имеют так же мало общего с теми славными золотоордынцами как современные греки с их далекими предками. Меня окружают

казанские люди, пытаются взять с меня ясак. Не те времена, слава Богу. Голос майора: ты еще здесь? - Вы что не видите: я всегда здесь. Иду, иду, какой вы право нетерпеливый! Он утверждает, что его дед - коренной сибиряк. Я делаю предположение, что его предки пришли в Сибирь с Ермаком. История Сибирского царства тоже чрезвычайно интересует меня. Но я не буду задавать ему вопросов, лучше пойду в библиотеку, там выплюсь до обеда.

Я здесь одна, меня никто не понимает

Девушка-Шалаяпин сидела у меня на кухне и обличала тихими словами, но гневными очами казанских людей, среди которых она делает вид что живет. Эта девушка-дворник давно вызывает во мне сочувствие, понимание артистической натуры. Близится зима, что девушку-дворника повергает в такое уныние, что и мне хочется уехать вместе с ней в теплые страны, где нет ни снега, этих огромных белых монстров ростом с человека, ни лопат, ни железных ломов. Мне знакома эта неприязнь к снегу с казарменных времен, но теперь - другая жизнь: Казармы больше не существует, она утонула, как Атлантида - канула в вечность - в лету! А если это продолжает интересовать меня, то как художника... Мне дорога правда, даже дороже зимы с ворсистыми сугробами!

Девушка-Шалаяпин хочет петь, а не дают ей петь! Квартиры то нет своей, живет в казенной комнатухе. Как похожи их судьбы, думаю я, и как не похожи они между собой: Лиза, Прекрасная туалетчица и эта девушка-дворник. Позже они подружатся и станут как две сестры. Может быть я напишу роман "Две сестры", где расскажу историю их дружбы. Конечно это будет ученическое подражание М.Прусту (даже само желание назвать мой сверхроман, куда должен влиться и этот маленький роман о девушках, "Содом и Гоморра" разве это не плагиат?! Но этот роман о двух полусиротках будет дорог мне, ибо продиктован вдохновеньем...

Вы только посмотрите как держит она чашечку: двумя тоненькими точеными пальчиками. Да и сама чашечка приобретает цену, словно она редкой работы фарфоровая чашечка. Девушка-Шалаяпин подносит чашку к маленьким губкам и маленькими глотками пьет кофе со сливками. Она похожа на фарфоровую фигурку. Передо мной блестящая фарфоровая птичка с женской головкой. Птичка божья из фарфора! Вот ее история: ей захотелось учиться, она стала даже поступать в институт, но туда ее не приняли, объяснив что девушек-дворников туда не берут. Родом она с Вол-

ги, голос у нее удивительный, когда поет сама чуть не плачет, с влажными глазами, романсы или народные песни, особенно если стопочку выпьет. Ее бы не взяли в артель баржи по Волге тянуть: маленькая она, хрупкая... Куда ей с мужиками матерыми, здоровыми в одной упряжке! Приехала на Неву, думала здесь бурлацкой работы нет! О сцене мечтала, в звезду свою верила! А что получила: мусорные бачки, да железный лом, да лопата... Бабы у них дворники, здоровые что те мужики: матом ругаются, бачки переворачивают, смеются.

Таким сильным было ее огорчение, что она позвонила мне. Как я мог утешить ее? В растерянности предложил ей выйти замуж за кого-нибудь. - Но за кого, за кого? горько повторяла она, аккуратно поставив чашечку на блюдце, даже не слышно было как зазвенело блюдце от прикосновения чашечки. - Ну найди кого-нибудь! воскликнул я, понимая бесполезность совета, хотя мне и казалось, что замужество - единственно верный путь для того, чтобы избежать зимы.

В Тавриде в прудах плавают красные рыбки с золотыми плавниками, цветут белые лилии и поют лягушки. Что, скажите, может быть удивительнее и прекраснее пения лягушек?! Причем сами лягушки не видны, слышны лишь их звонкие голоса. Я бы сравнил их пение не с трескотней мелодичной, а с трелями соловья. Так шествуя по аллее, ведущей к морю, среди деревьев инжира, граната, ветви которых были отягощены плодами, среди рощиц олив - серебряные листочки чуть-чуть дрожали, нежной такой дрожью, а не нервной - я слушал пение лягушек!

И вот я вернулся в свое родное болото: здесь у нас чахлые березы и облезлые ели, здесь торчат камыши и шелестят, лягушки наши не поют, а только квакают. И сам я уподоблюсь кулику, и в приступе квасного патриотизма буду петь хвалебные песни моему болоту - но что скажите мне за голос у кулика? Темно в нашем кабинете, он похож на болото: квакают сапоги ходящих-служащих, постоянно кто-то приходит по делу или просто так. В углу кабинета растут кривые березы и трясутся осины, а за окнами наверное дождь идет... Трамвай - дзинь-дзинь... Вчера окна были у самого потолка, дотянуться до них я не мог, лишь луч дня падал сверху, сегодня утром окна низки до смешного, почти на уровне земли. Те, с которыми сижу я в кабинете одеты в зеленое, но в не зеленое изумрудного или бутылочного или морского цвета - в защитного цвета! А взгляды их тусклы, а ходят они мягко ступая, как бы по моху, по кочкам. Мне постоянно

слышится хлюп-хлюп. Удивительно, что сверху ничего не льется: я в болоте, вместе с ними, но сухо! Все равно мне не по себе: пусть даже я не мокрый. Я ежусь, ерзаю на стуле, кладу ногу на ногу, руками обнимаю грудь, сижу задумавшись, авось страх пройдет, холод отпустит - страх и холод от осени, от службы на болоте! Не могу полюбить эту вечность болот! А если я буду спрашивать их, каково им, ну хотя бы девушку-делопроизводителя, ту, что перебирает какие-то бумаги рядом. Если попрошу ее объяснить... Не стану этого делать, лучше замерзну от страха и удивления! Чтобы не выдать моего состояния отвернусь к стене и открою книгу: да ведь она уже с утра открыта. А дева русская Гарольда презирает!

Пишу, рисую свои композиции как Кандинский или Малевич? В порыве экстаза, приступа радости, безумия пишу. Писать - старое слово. Как Малевич малюю свои картины. Как безумный Врубель! Сначала долго брожу и слушаю музыку, смешиваю краски. Эти лица, где сухо, где не цветут в порыве безумия дикие улыбки, смех у них жалкий и ядовитый как белена: взгляды их - темно-зеленые. Мне бы как древнему японцу: быстро-быстро тушью по листу! Мои бунты смешны, абсурдно мое ежедневное хождение на службу. Но эта серая подкладка не заметна, потому что она подкладка - шелковая, телу приятная. Музыка, которая раздается откуда-то из меня, из моих глубин, а может у меня вместо сердца орган? Не знаю, вскрытие покажет. Она говорит что ей не скучно и хорошо со мною: я недоумеваю. Ведь я ее не забавляю? Значит у нее тонкий очень слух и она слушает мою музыку.

Я безусловно одарен. От природы, от рождения щедро одарен ленью. Лень мой главный талант, моя единственная добродетель. Напишу похвальное слово лени: ведь она сестра безумия! Я счастлив, потому что с детства не был приучен ни к какому занятию. С детства понял я, что праздность мой удел. Когда маленького мальчика в панаме спрашивали: Сашенька, кем ты будешь? - Дворником! Дворник представлялся мне самой богемной, самой праздной фигурой в микромире Толстовского дома, в пространстве детства - парадизе - между Фонтанкой и ул.Рубинштейна.

Я никому не делал зла, т.е. добра, потому что добро-зло это единая категория нравственности, две стороны одной медали: отсюда единство и неизбежное противоречие. С младых ногтей я усвоил эту диалектику. Догегелевским, домарксовым сознанием аборигена с острова между Фонтанкой и ул.Рубинштейна. Местечковым своим умом.

Вместо сердца орган: красный с золотыми трубами и блестящими белыми клавишами.

Вот что утешило меня чрезвычайно, в дни тоски и отчаяния прочел у Чехова (письмо из Венеции): праздность - необходимое условие для счастья. Можно конечно понять моего начальника и компанию: само мое присутствие раздражает и выводит из себя. Вы видели изображения танцующего Шивы? Тонкая талия, крепкие бедра, блаженная улыбка на устах. Целый день я танцую, а когда надоедает, сажусь на стол в позе лотоса, закрыв глаза. Иногда майор просит пересесть меня в угол. Я покорно выполняю его просьбу.

В парке Чаир цветут еще розы (из крымских воспоминаний, осень)

Случилась перемена в погоде, стало беспокойно на море.

Объявили о том, что купаться запрещено: из-за волнения на море. Из-за шторма! Меня клянут мои начальники за непослушание, ими же самими придуманную строптивость, нежелание подчиняться т.н. уставным требованиям. Совсем я не таков! Если запретили купаться: не полезу в море, близко не подойду. Пойду лучше вдоль моря по царской тропе. Подойдя к беседке остановлюсь, буду смотреть как море блестит и скалы серые из воды торчат. Который уже день из головы не выходит сюжет моего романа о Прекрасной туалетчице. Что там нового на Литературных мостках? Плы-ву ли я на прогулочном катере у берегов Тавриды, а мысли мои далеко - у Литераторских мостков! Мне страшно за Лизу: это чистое невинное существо. Что день грядущий нам готовит?

Вот она стоит - нежная Лиза, волосы аккуратно уложены под платком, с ведром: воду наливает. Лицо у нее задумчивое, все в одну точку смотрит не мигая, а вода льется из блестящего латунного крана, вода все бежит. Заходит старушка полугорбатая в сером пальто и в ботах, она в церкви неподалеку уборщицей работает. - Что ж ты милая воду наземь льешь, ноги замочишь. Кран сама закрывает и берет у девушки ведро. Лиза со слезами благодарит добрую старушку и идет за ней на улицу. Не клумба, а загляденье: ухоженная заботливыми Лизиними руками, цветет она на радость всем! Не только посетителям общественного туалета, завсегдатаям, а и тем кто прогуливается мимо, к кладбищу идет или просто так. Лизу любят и всячески оберегают девушки, которые собираются днем в туалете и предлагают губную помаду, чулочки и всякую другую галантерею. Есть и такие, что приносят Лизе гостинцы: кто сигареток... Только спрашивается

зачем Лизе сигаретки если она не курит. Она все равно отдает их посетителям мужской половины или старушке-расклейщице объявлений и газет. Всякие другие незначительные презенты приносят девушки Лизе. Один раз кто-то шляпку с вуалькой подарил. О посетителях мужского отделения отдельный разговор: для них Лиза как сестра родная. Всякий оказывает Лизе политес. Что и говорить общество собирается отменное. Не надо только думать, что все сюда случайно заходят: по нужде, как старушки не скажут, напротив для большинства это место ранде-ву!

Спите заморские гости усните

Окно занавешано чистой белой занавеской, на ней вышиты толстые синие коты с розовыми бантами, окно то как всегда у потолка. Под подушкой моей роман "Рок-н-ролл", написанный Крошкой Ру, я его давно читаю, очень уж он мне нравится. А под кроватью - жесткой с железными набалдашниками - несколько книг лежит, а какие не разобрать: совсем еще темно. Я только руку вниз опускаю и глажу корешки книжечек моих, пытаюсь наощупь их узнать: здесь и Рембо, многотомный словарь французского языка Робер, и переписка Ивана IV Грозного с князем Курбским, "Житие протопопа Авакума, им самим сочиненное", все разложены на газете под кроватью. А на табуретке рядом: начатая мной рукопись научной работы "Еще раз о гебраизмах в сленге системы". Мой сосед спит на широкой скамейке у стены, ему не жестко, ему шинель подстелили. Он тоже болеет, его и меня приютила на время болезни Лиза. Мы лежим в ее комнатке при общественном туалете у Литераторских мостков. У меня острый ринит (насморк как говорят простые люди) на нервной почве, а у него эйдс: один визитер сказал, что это звучит как эдельвейс. Он сам себе диагноз поставил. Лиза спит у окна на теплой и мягкой телогрейке: это я принес ее, мне как чиновнику военного ведомства положено казенное белье (портяночки, нижнее белье, теплое и холодное, носки и ватничек-телогрейка). Лиза спит в теплом белье, я так посоветовал, чтобы не простудилась. Лизины грезы. Спит и кот ученый на рогожке.

У Литераторских мостков

Самой первой приходит в нашу богодельню, келью, странноприимный дом одна знакомая старушка - расклейщица газет. Она приносит с собой утреннюю прохладу, на дворе первые заморозки. Она греет красные большие ру-

ки у батареи, поставив табуретку к самому окну, Лизины ноженьки между ножками высунулись, спит сердешная. А старушка уже чай греет на примусе в закутке. Подходит ко мне, садится на край кровати, грузная, но не больная, большая старуха, рассказывает мне про племянницу, затем идет пить чай с бубликами, попив чаю снова садится ко мне на кровать, спрашивает о соседе: я даже имени его не знаю, про Лизу, про старуху-банщицу и перекрестившись, направляется к двери, где ее ждет железная банка с клеем и брезентовая сумка с газетами.

Закрыла за собой дверь и уже с кем-то разговаривает, на женской половине, ведь у нас две двери: одна ведет на женскую половину, другая на мужскую. По голосу узнаю старушку-уборщицу из церкви. Говорит, что в церкви много народу вечером будет, Дмитриевская родительская суббота, о чем-то шепчутся и расходятся. Одна заходит к нам в комнату, другая выходит на волю.

Солнце пробивается как подснежник весной сквозь занавеску в Лизину комнату. Юноша уже проснулся и попив кофею со сливками в обществе своей неизменной компаньонки бывшей банщицы из Щербакова переул-ка, живущей почти безвыездно здесь, принялся читать мемуары одной американской гетеры. Она была очень похожа на мою покойную подругу Лию Ш. Также как она, та была рождена для вдохновенья, звуков сладких и любви. Свой опыт жрицы любви она виртуозно доверила бумаге: в отличии от Лии! Да: Лия не успела выговориться (если не считать конечно тех исповедей, которые выслушивал я). Мало кто понимает: как можно жить в любви как в искусстве. Не продаваться за копейки, за бумажки, нет! А как танцовщицы отдаются взгляду, выражают себя всем телом...

Юноша лежал, освещенный солнцем у стены, а в темном углу сидела старушка и видела творческие сны (ей с недавних пор стало казаться, что у нее дар.. Вернее, муж балерины и капитан поощряют ее занятия живописью. Для них это развлечение: видеть как старушка - как ребенок! пишет наивно и искренне свои картины. Цветы, зверей. Т.е. то, что поразило в свое время Кандинского в вологодских деревнях, где он видел разрисованные печи). Важная старушка сидела на табуретке, не замечая ни солнца, пробившегося сквозь занавеску, ни эротических картин, которыми была наполнена комната до краев...

Алена позвонила мне на службу около полудня, когда бывает брек, т.е. перерыв между занятиями. В классе остались мои туземцы, в углу ске-

лет, на столе - на оранжевой клеенке препараты внутренних органов. С Аленой мы договорились встретиться в обычном месте: в сквере у разрушенной бани на Щербаковом.

Потом я вернулся в класс и мы продолжили с замечательным доцентом Л. лекцию о физиологии пищеварения.

У меня идут сплошные шестереки, об этом я жаловался Алене. "Шестереки" это военнопереводческий сленг, значит "переводить три лекции подряд". У нас с капитаном джентлмен эгримент: я тарабаню шестереки, он выполняет экстралингвистические поручения. Вершки-корешки, одним словом. В этом проявилась еще раз (по их мнению) моя дурасть (а может быть так и есть) - они не понимают моей любви к слову, и неприязни к ним. Разумеется лучше танцевать словами (мне видится большая связь между хореографией и переводом) чем сидеть с ними в кабинете. Капитан же гнушается нашей черновой переводческой работы.

Он похож на арабской породы скакуна, а не на лошадь просвещения. Добился освобождения на три дня!

Какая сладость в этом слове! В этом "освобожденья"!

... и правда: Лермонтов был военным и понимал.

И я понимаю: "без этих трех блаженных дней", о!

До многого доходишь со временем. Например до сочувствия одной поэтессе, к которой ранее не было сочувствия: а именно к З.Гиппиус. Когда-то мальчиком читал: "хочу цепей!" и про себя говорил: ну не дура ли!

Теперь когда вижу нашего старого подполковника (не путать с новым начальником!), который плачет ночами, считая месяцы до увольнения (до "освобождения", если угодно)... Да и сам думаю, что будет когда меня выгонят и я стану вдруг похожим на дикого гуся: лети куда хочешь! Нет-нет, еще послужим, говорю себе, сжавшись в серый комочек: гадкий утенок я!

Да стоит еще служить, чтобы испытывать сладость этих трех дней!

Я софийствую так сам с собой. Подтверждая справедливость формулы крымского генерала Калашника: все переводчики пьяницы или сенеки. Известно реноме этого генерала в переводческом мире: он...! (нецензурное слово).

Я признаюсь: люблю законченных, совершенных персонажей в жизни (о Мозм!). Если ты - генерал Дуракин, то будь им! Напомню, что генерал Дуракин - герой одноименного романа графини де Сегюр, урожденной Ростопчиной. Одна из любимых книжек маленьких французов.

Да, разумеется, за три дня я смогу поразмыслить о разных предметах. Вырвусь из душного кабинета, где служат бесстрашные офицеры.

Есть время привести в порядок мои Записки. "Записки" я употребляю в ироническом смысле. Я же не кавалер-девица Дурова, героиня патриотической войны двенадцатого года. По совету профессора я должен взять эти мемуары в библиотеке и выписывать лексику, потом написать статью о лексике войны двенадцатого года. Он не знает, что вместо статьи я пишу мемуары на французском языке и, когда приходит вдохновение: романы, а точнее: конспекты романов, на живом "великорусском" языке (я любитель этимологии, думаю, что "роман" это сочинение написанное на провансальском яз., в отличие от "мертвой" классической латыни). Пусть капитан хоть три дня попереводит.

Он воображает себя каким-то арабским скакуном: посмотрите как он ходит задрвав голову кверху, все любят его! Он галантен и учтив с девушками-делопроизводителями, снисходительно смотрит на офицеров службы. Да, он правильно ведет себя: офицеры службы видят с кем имеют дело! Если бы он открыто презирал их, то они еще больше проявляли к нему почтения! А так: просто держат дистанцию. Он богат, у него квартира в Москве. Он в быв. Фехтовально-гимнастической школе долго не задержится: в Африку уедет. А вы тут останетесь. И то хорошо, думают про себя в прошлом сибирские или туркестанские офицеры, и то хлеб! Все-таки в городе служим-с. Не в тундре, не в пустыне.

Мое же поведение по отношению к заурядным офицерам службы истолковывается ими не верно. Считаю их людьми, я уважаю в них "человека". Они платят мне злобой, придирками.

Мне не хватает капитанского снобизма, а обходиться с ними так как делает он, я не умею.

Три дня, три блаженных дня!

Есть время подумать и о романе.

За эти три "блаженных" дня вспомнил и годы ученичества в Лефортовской слободе, рядом с ликеркой, на Яузе.

Вспоминается, например, такая музыка: "полька-бабочка"! Да: которую исполняет в Лефортовском парке военный оркестр под управлением майора по прозвищу "Поль Мориа". Музыка веселая звучит на финише, когда первые курсанты пересекают линию. А мы с Базилом прибегаем последними: это у нас такое правило - "куда спешить, к чему стремиться"?

Иногда и Женя С. с нами "прибегает".

Мы как и все делаем вид, что изнемогли от бега. Да так оно и есть: изнемогли! Дышим тяжело, подходим с остальными к зеленым военным термосам с чаем. Отдыхаем под липами.

Еще я вспоминаю лазарет. Как-то с Базилом вместе совпало нам лечиться. Лазарет это отдых от военных малярий, от "подъемов-отбоев", от уборки снега, от кухни и других казарменных вещей.

Как писатель (при всей нескромности и высокости титула, я все-таки являюсь таковым) родился я в лазарете Лефортовой слободы. Там записал я мои первые воспоминания. Если не считать рассказа, написанного на французском языке, который вызвал похвалу полковника П., бывшего разведчика-нелегала.

Я все отвлекаюсь: не могу сосредоточиться. Разное все припоминается. Вот Базиль вечером читает мне стихи в казарме. Разве не трогательное воспоминание?

А наша поездка в Переделкино. А поездка в Ростов Великий. А его приезд ко мне в Одессу, куда я был сослан как Пушкин вместо Африки. Базиль, приехав в отпуск из Германии в Москву, не поленился сделать крюк, чтобы навестить меня в изгнании. Мы идем с ним по берегу Черного моря в сторону монастыря. Вдруг начинается дождь, мы промокаем до нитки и мокрые приходим в монастырь, на следующий день едем на дизеле в Кишинев. У него ужасный характер: он высокомерный, капризный... Мне кажется, я только мог его "выносить". Не знаю, что он думает обо мне. Наверное, то же самое...

Во всяком случае у нас была дружба "в упор, без фарисейства". Мы расходились и сходились (так же и эпистолярно). Но: кроме Базиля никто не приехал навестить меня в одесском изгнании. (Справедливости ради скажу: маман приезжала, но это было позже, во время второго одесского сежура, то уже была не ссылка, а скорее, действительно, "сежур".)

После трех дней "освобождения" прихожу на службу.

Возгласы радости, обмен любезностями: меня окружают девушки-делопроизводители - ах милые мои! и офицеры кабинета.

Новый наш начальник заходит посмотреть: в чем дело. А это вы явились! Поправились? Ну-ну.

Я какой-то тихий стал после "болезни", даже робкий. Застенчивый. Во мне такое иногда состояние пробуждается: может быть это "мое истинное": быть блаженным, вот так ходить по службе и улыбаться. Почти не го-

ворить ничего. Смотреть начинают подозрительно: друг друга в кабинете изучили и знаем, что от кого ждать.

Столько шуму бывало устрою, столько разговоров. Сам себя уже не помню, с пафосом говорю. Начальник только слово вставить может: дайте и мне мол сказать. Ведь я подполковник, в политической академии учился! Я почти как кот булгаковский ему: знаем, там все такие учатся! Витька, например.

А какие генералы были, уже лучше и не вспоминать, вы говорите: подполковник. Называю несколько генеральских фамилий с сомнительной или бесславной репутацией.

Это было при прошлом начальнике. Напомню, что его "ушли" из нашего офиса из-за любви. Да: романтическая история. Влюбился в одну вольнонаемную даму службы. Везде с ней появлялся, как Людовик с мадам Помпадур. Но та была, простите, мэтресс де титр. А этот подполковник забыл какие времена. В самом деле: о темпора о морес! В утешение ему дали баранью папаху. Если быть до конца откровенным и забыть мелкие злодеяния, которые он мне чинил, то стоит признаться: его роман с вольнонаемной дамой заставил меня изменить отношение к нему. Потом когда я увидел его случайно во дворе школы, уже в бараньей папаше, то подумал с грустью: а ведь он не похож на барана.

Он поднявшийся до влюбленности, до куртуазности семнадцатого века, посмея завести мэтресс де титр! вдруг оказался униженным до такого состояния. Он не посмел отказаться от каракулевой папашки, от мечты заурядных людей.

При встрече он, конечно, делал хорошую мину. Но я чувствовал, что он понимает низость своего состояния.

Все-равно человек когда-то поднявшийся до влюбленности уже получил право на уважение к себе.

Выхожу из стеклянного павильона метро похожего на китайскую пагоду, которую мог бы построить Ле Корбузье.

Глотаю морозный воздух. Уже утро, но все тонет в темноте: люди, трамваи, зданья. Острроверхие крыши все же отчетливо видны на светлеющем небе. Эти дома в который раз заставляют меня забыть где я и куда бреду. Скандинавский город, северная химера.

Пройдя квартал в направлении службы вдруг вижу на крыше одного из домов сидит Конфуций. Несмотря на неяркость и даже туманность рассветного часа я смог различить красный шелковый халат с желтыми цвета-

ми, черную шапочку с кисточкой и туфли с загнутыми носами. В тот момент, когда я заметил его, он был занят письмом: на желто-белом свитке он что-то писал, обмакивая кисточку в фарфоровую баночку с тушью. Писал он очень старательно, с любовью выводил иероглифы как ученица. Лицо его было прекрасно: румяное от мороза, черная бородка с серебряными волосками, черная косичка выбилась из под шапочки.

Каким же было мое удивление, когда заметив меня, он стал вдруг церемониально кланяться, отложив свой воощеный свиток и баночку с тушью. Как будто он ждал, когда я буду проходить к себе на службу... Я тоже ответил ему церемонным поклоном, сложив руки ладонками: так в фильме раскланивались гейши во время чайной церемонии. Он был рад встрече, это видно по всему. Я же испытывал некоторое замешательство: не каждый день видишь Конфуция, сидящего утром на крыше дома.

Хотя я по роду своих занятий очень далек от всего изысканного: китайского или японского, но значения жестов Конфуция мне показались простыми и понятными. Я понял, что он был рад встретить меня, желал мне процветания и благополучия, душевного спокойствия.

Мне было неловко от того, что я опаздывал на службу и должен был проявить суетливость. Но философ правильно понял меня и сделал жест, означающий: всего доброго, тысячу комплиментов! Обескураженный, да: почти потрясенный увиденным, я подошел к двухэтажному дому во дворе, где находился офис...

Мой нос вдохнул приятный запах ванили и теплого хлеба, ведь по соседству располагался хлебный завод.

После ледяного холода - Маркиз де Кюстин утверждает, что город находится в тундре - попадаю в душный тропический кабинет службы. Повторяя про себя фразу "нет лучше сгнуть в стуже лютой" улыбаюсь майору. Он увидел меня и содрогнулся всем телом как будто я шаман на самом деле, а не он. Разумеется, во мне есть что-то от шамана, хотя я не ряжусь как майор в шаманские одежды и не пляшу с бубном в этом кабинете, заклиная злых духов. Он воображает себя шаманом, потому что в прошлом - сибирский офицер и очень любит наряжаться.

Что-то тривиальное говорю девушке-делопроизводителю. Улыбаюсь ей. Она смущенно прячет лицо в ворох бумаг. Стыдливость украшает девушек.

Мне не совсем хорошо, после болезни я не успел окрепнуть, влажный и жаркий воздух кабинета вызывает тошноту. Сажусь, покачиваясь за стол. Ничего, привыкну как-нибудь, ведь раньше здесь служил...

Да: в кабинете одно время года, как говорят в Эфиопии.

Там, рассказывают все время весна. Не знаю.

На этой службе во всяком случае вечное лето.

Ни сезона дождей, ни муссонов, ни сирокко...

Плавают рыбки, верещат попугаи...

Меня дурманят необыкновенной красоты тропические цветы (вспомнить хотя бы таможенника Руссо). Офицеры похожи на боевых слонов. У них толстая кожа, бивни... Они поднимают хобот и кричат. Похожий на павлина начальник с завитой челкой важно расхаживает по кабинету.

Невольно попадаешь под очарование службы. Ах если б не болезнь служил бы как Гоген на острове службы. Наслаждался бы экзотическими красотою, писал Мемуары... Отвечал бы взаимностью этой девушке-делопроизводителю словно смуглой островитянке вечером когда веет прохладой с океана... Но: это мне чуждо все! Их золотые плоды, все экзотические красоты службы - мне северному аборигену!

Но: живет во мне страх быть изгнанным из службы-парадиза, где ни зимы, ни осени, а вечное лето! Абориген воображающий себя попугаем на странном острове службы...

В часу пятом уехал со службы на трамвае. Пробирался словно в зарослях бамбука, но напрасно: начальник похожий на павлина даже не посмотрел в мою сторону. Он важно ходил взад-вперед мимо кабинета.

Вот я еду в трамвае к Литераторским мосткам, везу в портфеле обещанную юноше книгу: Мемуары Гогена.

Этот странный юноша все тайны сердца открывает Алене, не мне... Я, конечно, далек от ревности: это смешно и нелепо! Он относится ко мне с большой нежностью, несчастный юноша, но его очевидно удерживает стыд, или скромность? Алене нельзя не открыться, она харизматическая личность! Впечатлительный и тонкий юноша сразу же доверился ей.

Полина Макова, которую я встретил в богемном буфете при вокзале, рассказала мне о замысле своей новой повести. Ее героем станет юноша, заболевший таинственной болезнью эйджс, чумой нашего времени! Времени было мало и я не стал расспрашивать ее о развитии сюжета, действующих лицах и т.д. Она обещала приехать на Литераторские и там читать отрывки.

Капитан наш нашел наконец себе комнату: на Садовой. Собирается покупать машину. Потом поедет в Африку зарабатывать себе на жизнь.

Сегодня его не было на службе, уехал в охотничье общество, попросил меня "попахать" за него.

Проезжаю по мосту и люблюсь черной водой в прорубях. Лелею заветные мечты, укутанный в кокон теплых чувств, светлых мыслей. Того и гляди не дожидаясь лета, набухну и превращусь в бабочку. И буду летать целый день, садиться на прекрасные цветы... Огромное количество минут! до самого вечера...

А там и умру в ночи.

Я прохожу мимо ограды и спускаюсь в небольшую уютную комнату. Там уже сидит Алена и о чем то говорит с юношей.

Выглядываю наружу: декабрь. Черные деревья на фиолетовом небе.

Плывут льдины по реке.

Вздыхаю, но не горько. Выхожу на берег реки. Вот оно - мое настоящее (в смысле "имеющее ценность", "подлинное"). А этот в буквальном смысле опереточный антураж: служба с офицерами (военные чиновники!), кони пасущиеся на стадионе физкультурного заведения, бестиарий с бочкой - вторая реальность.

Меня - потомка аборигенов - заставляют играть роль вместе со всеми в этом водевиле.

Но я не кляню свою судьбу! Нельзя, императив такой...

Я думаю только: как лучше исполнять доставшееся мне. Думаю без лукавства, ведь я сейчас один на берегу реки. Все что есть во мне лошадиного, обезьяньего, попугайского исчезло в это утро. Как сон, как утренний туман!

Приехали туземцы из Африки. Точнее: с острова, где горы, океан, в пещерах там хоронят покойников, а потом перебирают их кости и бережно заворачивают в чистые тряпки. Они смуглы и словно выточены из эбенового дерева. Тоже театр!

Я работаю с ними: хожу и толмачу. Туда-сюда.

Это уж лучше чем сидеть с майором в душном как тропический лес кабинете, где нормальные люди сходят с ума от кабинетной жары, запаха кабинетных цветов (они сладко пахнут, ядовитые цветы), верещанья попугаев...

Девушка-делопроизводитель стала невозмутимой, как больная.

Словно отсутствующей, со стеклянными глазами... От палящего солнца кабинета она почти ослепла. Но продолжает ходить на службу, боясь поте-

рять это место. "Теплое", убеждают ее родственники. Она и сама перестала замечать за собой странности: здесь все почти такие.

Бедная девушка, так любившая мои рассказы про гейш и разное другое, влюбленная в меня тайно, безответно, безнадежно.

Грустная история.

На этой службе я как бы не кстати. Я - Гоген-художник... Я - абориген-чучонец. Я - лошадь Просвещения. Я - говорящий попугай. И прочая, и прочая.

Так думал о себе мучительно я к исходу третьего дня освобождения. Завтра вновь поплечусь в офис.

Думал также о Маркизе де Кюстине, о его "пасквиле" сочиненном о России (выражение Николая), о чувстве странном: мне кажется что я тоже путешественник и мои наблюдения до некоторой степени совпадают с Маркизом... Это были самые первые, т.е. ошибочные впечатления. Пока читаете: ты как будто сам из Парижа злой на корабле к Васильевскому острову пристал... Да, разозленный Маркиз (потом мне станут известны некоторые причины его обид и гнева) приехал в Россию и не ошибся, нашел то что хотел. Потом вернулся в Париж и написал во французском стиле. Вольтер был мудрым и в Россию не поехал, жил в Фернее, переписывался с Екатериной. Она ему писала: в Вашем возрасте пить столько кофею неблагоприятно! в таком духе.

Да умом французским Россию не понять.

Все-таки Вольтер был умным человеком: и не приехал! А "Историю Петра Великого" пробовал у себя дома писать. Вот оно французское благоумие. Золотая середина!

О России всего лучше во Франции писать: так делал например Бердяев. Так же поступал беллетрист Тарасян (член французской Академии Анри Труайя).

Мне бы хотелось написать "Клеветникам России" если б Пушкин не сделал этого "на свой необычный манер".

От судеб спасенья нет: м.б. и мне будет несчастье на родину клеветать. Не дай мне Бог!

Надо полюбить этих безобразных защитников, сибирских и других офицеров, с которыми вместе защищаю на свой манер родину. Вереща в служебном вольере. Как попугай небесного цвета.

У нового начальника красиво завила челка, у него ухоженные усики, он вообще хорош собой. Весь ухоженный, холеный. Мундир у него видно по всему совсем недавно пошит: сидит на нем отменно. Что еще сказать: красивый начальник как расписной пряник! Я им сам невольно люблюсь.

Хотя известна моя неприязнь к начальникам: важным и надутым птицам!

Но уж лучше быть таким как наш новый начальник: молодцеватым подполковником с завитой челкой. Да: чем другим каким-нибудь неопрятным и грубым офицером. Таких правда я не помню. Все мне попадаются образцовые начальники: франты! Немного глуповатые, фанфароны, пустомели... С такими и служить то легче! Попадись умник: из службы ад сделлся бы.

Был бы я сам поумнее то и служилось бы мне легче. Дело даже не в уме: глуповатым служба мед! Меня подводит темперамент, даже, точнее говоря, патологическая веселость. Почти постоянное эйфорическое состояние. Это м.б. и хорошо, даже идеально: такое бьющее через край душевное здоровье. Да, по-гречески эйфория это прекрасное самочувствие, а для совр. психиатров - аберрация! Отклонение от нормы. Нормой считается "нормальное" состояние, которое они и описать не могут. Т.е. ни то ни се. Животрустное состояние. Мне очень нравится "пушкинское" состояние - светло-грустное! Но с таким состоянием на службе делать ничего. Сказали бы: одна из стадий маниакально-депрессивного психоза. Так же как и эйфория, т.е. прекрасное самочувствие. Чехова бы давно уже выгнали со службы. Циклотомия.

Мне становится чрезвычайно забавным сочинять всю эту службу: весь антураж, офицеров и себя, и девушек-делопроизводителей. Закручивать все действие на службе. "Никто не скажет: я безумен!" Никто слава богу не знает о моем сочинительстве. Сразу бы объявили безумным. И в желтый дом! И на цепь!

А так у меня репутация не совсем конечно нормального, скажем, странного офицера... Который громко смеется, да: вдруг засмеется, а видимых причин вроде и нет! Ну м.б. вспомнил что-то смешное... Читает часто: как голова только не болит. Но у всех в конце концов свои извинительные слабости.

Мой начальник не думает, что я уж совсем "конченный" человек-офицер. Еще медаль получите! Попомните мое слово.

Работу свою Вы любите. Будьте собранней, не летайте на облаке! Удивительное терпение проявляет к рассказам майора одна из наших девушек-

-делопроизводителей. Воспитанная девушка, ничего не скажешь. Она отрывается от своих бумаг или перестает стучать на машинке, когда майор вспоминает очередную историю про свою дочку, или про жену (казалось бы о ней он мог бы не рассказывать, ведь она служит вольнонаемной в другом кабинете), или про бурундучка, которого купили они с женой на Кондратьевском рынке.

Купили не для дочки, она уже взрослая, скоро в институт поступать! А так, из любви к животным. Еще есть много историй про службу: за двадцать лет везде с женой послужили!

Вот и тебе бы, говорит он обращаясь ко мне, не мешало везде послужить, страну посмотрел бы! Как я! Мы с женой и в Сибири, и на Украине, и на Дальнем Востоке...

Что это за служба, продолжает пенять мне, Москва - Ленинград? Ха-ха, еще Одессу вспомнил, море!

Эх, вот выйдешь замуж за офицера - девушке-делопроизводителю - везде наездитесь, как мы с женой, по разным гарнизонам!

Я не боюсь проявить неучтивость или прослыть невоспитанным: поворачиваюсь спиной, иногда закрою уши. Вторая девушка-делопроизводитель заболела или сказалась больной. Ей нет и двадцати, она нежна... В ее годы, проводить время в этом страшном и опасном кабинете: пусть все это и декорации, все надуманное - бутафория! но привыкаешь ведь, принимаешь за действительность... Это должно действовать на неустойчивую психику юных девушек, незакаленные нежные создания.

Как они любят играть, офицеры нашей службы. В шкафу хранят маски и костюмы, баночки с кремами, гримом, весь свой любительский театральный реквизит. Переоденутся за шкафом и начнут скакать с завываниями, гиканьем, улюлюканьем. Вдруг заплачут - жалобно-жалобно. Засвистят. Закривляются. Застынут в самых невероятных позах. Признаюсь, что и на меня, казалось бы уже привыкшего к этой буффонаде, некоторые эффекты действуют: то засмеюсь, то испугаюсь...

Кажется, что этот театр никогда не кончится. И длится он месяцами, годами... Как жизнь: без начала и конца. Поэт прав!

Спасительный агностицизм: не знать своего состояния.

Рассчитывать на сострадание: ведь это - слепота!

Быть "слепым музыкантом". Тебя жалеют на службе, но не прогоняют.

Платят исправно "денежное довольствие", т.е. по латински говоря: сольд! как наемнику, как солдату!

Странное и противоречивое состояние... Да: парадоксальное если начать рефлексировать. Т.е. задумываться. А зачем задумываться-рефлексировать?

Будучи по природе своей любомудром, или софистом, вдруг переверну все иначе и начну рассуждать о спасительном гностицизме, когда головой вдруг снимаются противоречия и жить становится легко.

Думаю я немного, потому что служба мешает. Меня отвлекают, пристают с поручениями. И то славно: не разовьется гиподинамия от сиденья на стуле день-деньской. Сам иногда прошу поручений: нет ли чего исполнить?

Природа сделала меня таким: эйфорическим. Доктора говорят, что это от гормонов. Таков мой организм! Надо все переносить: и эту службу, и этих людей - в прекраснодушном настроении. Конечно, бывают срывы! Я ведь по природе не герой, а наблюдатель... Художник более чем человек в пейзаже... Или дерево, или стог, или какая-нибудь девушка, поливающая цветок на службе... Меня все волнует: и цвет травы на службе, и блеск воды, и плач майора, и красота нового начальника!

Меня вдохновляет это на творчество. Я не могу усидеть на стуле, порываюсь встать... Верчусь на месте. Хлопаю в ладоши. Пристаю ко всем. Майор наряжается потехи ради в Распутина. Почему он избрал персонаж этого удивительного "старца", до конца не ясно. Можно предположить, что это проявление майорской любви ко всему мистическому, русскому, сибирскому... Дня не проходит, чтобы майор не вспомнил о своем сибирском прошлом: обучение в танковом училище. Романтика: мороз и солнце! И все остальное в таком духе: восторженное... Достает из кителя портмоне, толстыми пальцами вынимает фотографию: круглое лицо юноши-курсанта. В Сибири я, двадцать лет назад!

Девушки-делопроизводители и я не можем оторваться от майорского - в прошлом, в Сибири - лица! Перебивая друг друга говорим комплименты. Майор наш как девушка краснеет. Ему приятно. Говорят, что дела одной из наших девушек-делопроизводителей плохи...

Что ж, пребывание в этом служебном кабинете не должно пройти бесследно. Когда я записываю в тетрадь эти строки, другая, оставшаяся здоровой девушка не сводит с меня глаз. После того как ее напугал майор, выскочивший из-за шкафа, она начинает тихонько посмеиваться. Капитан смеется всегда - громко, по-гусарски - в этом нет ничего удивительного, он - жуир, бонвиван!

Веселие - нездоровое, слишком уж яркое, как те тропические цветы на картинах Руссо - оно приходит неизбежно после гнетущей мрачной атмосферы, когда все подавлены, смотрят тупо в бумаги, или в пол: бессмысленно стучат машинки, скрипят дверцы кабинетных шкафов, лязгает ключ открывающий майорский сейф, раздаются глухие шаги офицеров и вольнонаемных... Вот он шумовой фон службы: начнешь прислушиваться - потеряешь здоровье!

Отсюда: неизбежность веселья. Кривлянья, громкого смеха, беготни друг за другом по кабинету. Навеселимся бывает до упаду, как пьяные потом сидим за столами и на крутящихся как у пианистов стульчиках: размякшие, пустые...

Войдет подполковник, чтобы что-то сказать. Так, ерунду какую-нибудь... Кто-то обязательно не удержится и прыснет со смеха. Скорее всего, это случается со мной. Капитан с майором хранят внешне невозмутимые лица: в сердце веселятся злорадно, шас мол его ... А девушки-делопроизводители тоже расхохочутся. Одну за шкафом не видно, только раздается всхлипывание, попытки подавить смех. Другая за машинкой кривит лицо: и хочет серьезной удержаться, а не может.

Начальник только скажет: веселитесь тут, ну-ну.

Новый подполковник очень осторожен: в походке, речи. Думает, что будут говорить о нем. Я считаю, что это благоразумно с его стороны. Неправильно сказанное слово, неудачное выражение могут свести на нет его неустоявшийся авторитет. Он правильно полагает, что может оказаться посмешищем всей службы. Он видит уже как его передразнивают в нашем кабинете, как изображают походку, повторяют любимые фразы...

В той тщательности, которую он придает своим манерам, я кроме всего вижу еще и уважение к нам, своим подчиненным. Он должен служить примером другим начальникам: закрываясь в своем кабинете, он достает из стола орфографический словарь, ставит на стол зеркало, раскладывает предметы ухода за лицом...

На службе как в пустыне. Вынужденное состояние.

Длинные дни сидения в кабинете похожи на описание пустынь. Даже самые восторженные, как допустим у Экзюпери: с цветущими колбочками, лисичками, тишиной...

Тот, кто подумает, что я склонен описывать пустыню-службу односторонне в одних лишь серо-желтых тонах, ошибается. И мне пришлось испытать немало поэтических и восторженных минут в кабинете-пустыне. Военные чиновники или офицеры похожи на жителей пустыни: скорпио-

нов, тарантулов, ящериц, верблюдов... Они такого же цвета как пустыня, такие же терпеливые и неприхотливые как она. Нет в пустынных днях службы городского шума, или музыки так привычной для жителей городских трущоб и хороших кварталов? Да, но зато есть тишина...

И есть лазарет, куда я попадал как в оазис после бесконечных переходов по жарким пескам под палящим солнцем. О прохлада лазарета... Забота нянечек, медсестер. Сладость утренних часов, ведь не надо вставать, повинуюсь крику безумного дневального.

Три дня освобождения вот радость в пустыне службы!

Как приятно лежать у себя в доме-бочке или башне или в аборигенском вигваме, чуме, яранге, казе и прочая. Не скучно совсем, если не поддаваться козням злых духов, которых посылает из своей тьмы Князь мира. Отвергнув бессмысленную суету, в которой пропадают лучшие дни, не слыша флейты и барабана, слушаешь тишину дома.

Вот парадокс: оказывается тишина служебной пустыни мира обманчива, если прислушаться то она состоит из бормотанья офицеров и вольнонаемных, рядовых чинов, непонятных и нечленораздельных звуков, шорохов, криков...

Я думаю об этом, сидя в садике недалеко от семинарии, поджидая профессора, с которым мы условились встретиться.

Профессор по своему спасительно ограниченный человек, подобных ему людей много на службе, где тоже нужна спасительная ограниченность. Это позволяет жить легко, хотя и не счастливо м.быть. Сохранять видимость достоинства и чести, инфантилизм или детскость (не путать с тем, что называют "детством" или говорят "он как ребенок"). Инфантилизм взрослых людей это спасительный идиотизм, которому подвержены очень многие. Желание играть во что-либо: в войну, в науку, любить лечить людей, петь, писать, танцевать...

Майор наш похож на Распутина, если верить описаниям французского посла Мориса Палеолога: он ходит мягко ступая в своих начищенных до блеска сапогах, он оказывает несомненное чарующее действие на наших девушек-делопроизводителей. Когда он рассказывает свои истории, они не могут оторвать от его пухлого лица мутных взоров. Бедные девушки, они настолько истомлены страстью, что кажутся, нет, наверное, в самом деле: больны. Одна часто отпрашивается, сказавшись нездоровой. Своим голосом: томным, страстным он способен довести их до нимфомании.

Кажется, что на нем расписная рубаха, подпоясанная кушаком, который мог быть вышит любовно руками наших девушек. Они готовят чай, самовар на столе уже закипел, достают из своих сумок всякие угощения: крендельки, пирожки...

Майор встал из-за стола, улыбаясь как кот, стал похаживать по кабинету...

Когда же кончатся его истории про дочку (нашли наконец ей жениха-курсанта), про бурундючка, про службу!

Девушки-делопроизводители слушают, раскрыв рты.

Я думаю, что если меня еще не изгоняют со службы, то это божественное провидение и надо плыть по течению: куда вынесет! Т.е. служба похожа еще и на мутный поток, на Миссури или Желтую реку. Несет меня как Гекльбери Финна или кого-нибудь еще на плоту. Мимо берегов жизни, где рождаются и стареют люди разнообразных состояний и достоинств.

Мне как герою какой-то книжки непонятно как умудряются жить люди "там", за пределами службы. Мне понятен пафос прапорщика из водовиля, который утверждает, что "они и ходить то как следует не умеют"!

Пока я предаюсь моим мечтам под сенью службы, юноша рассказывает Алене о своих бывших любовниках. О студенте театрального института, о японце, молодом красивом арабе, об американском морском пехотинце из охраны консульства...

(Юноша знает, что все истории любви станут известны мне, кто знает: нет ли в этом умысла?)

В привокзальном буфете, где мы встречаемся с Алиной, я узнал от нее такую новость:

лизин туалет собираются весной закрыть. Да: совсем закрыть как туалет и переделать его под кооперативное кафе для литераторов. Хорошая идея: такое маленькое уютное кафе. Как в Таллине или на Арбате. У Литераторских мостков, название готово! Об этом рассказал художник-оформитель, которому поручили заняться интерьером.

А что же будет с юношей? Куда он теперь? А Лиза? Та поживет у старообрядцев в часовне, в Рыбацком. Или поедет к своей подруге в архангельскую деревню. Они же собирались в какой-то северный монастырь податься? А юношу может быть с собой возьмут. А может быть поедут все сторожить музейчик Хлебникова при погосте в Новгородской деревне. Поживем-увидим, говорят.

Эти известия меня, признаюсь, поразили. Рушится на глазах гавань для усталых и счастливых людей. Как весело было в последнее время, когда профессор приводил с собой кроме студента, мужа балерины и семина-

риста симпатичного мальчика из военно-медицинской академии. Алена, которую совсем не соблазняют юноши и та заглядывалась на него. Даже ходила вместе с ним в анатомический музей при академии, спускалась в подвал морга, рассматривала препараты... А старушка, бывшая банщица из Щербакова переулка? Она лишится такого общества, где раскрыли ее талант, где она чувствовала себя нужной: помогая Лизе в уборке, ведя пусть и не очень обременительное хозяйство. Все так привязались друг к другу. Ведь в городе нет салонов, где собирается приятное общество. А если и есть подобия, то наверняка там люди случайные, неинтересные друг другу, похожие как инкубаторские цыплята или военные.

Я думал, что у мужа балерины и профессора наверняка есть дома, куда их приглашают... Но там все не то, чего то не хватает! Не зря мужебалеринская жена уехала в Париж, "на стажировку", к Бежару или Нуриеву. Какая разница: пусть Бежар и переехал из Брюсселя в Женеву, там все рядом. А сказать нам: в Париж, к Бежару! - это класс.

Ни профессор, ни муж балерины не знают еще об этой новости. Правда, до весны еще несколько месяцев...

Всем весело, потому что начальник еще не скоро вернется из отпуска! Эти офицеры кабинета которых я вижу каждый день раздражают меня как раздражают строки и слепни мальчика, пасущего скотину в жаркий день...

Другие дети побежали к реке!

Здесь же в военном кабинете непонятная погода, непонятная от того что нет определенного времени года, нет времени, кажется. Не странно ли?

Тропический лес, полный опасности и красоты, где жара сводит с ума, где приходится вдыхать аромат ядовитых цветов... Откуда трудно убежать!

Читаю воспоминания Гогена.

Служба кажется тропическим лесом, сам я себе кажусь то французом-художником то аборигеном с шоколадным телом. Чтобы отдохнуть от книги принялся сочинять письмо Базилю:

Милый друг!

Моя хандра растаяла с последним снегом... Вновь я бодр и весел: такой, каким ты оставил меня прошлым летом. Ты спрашиваешь, чем я занимаюсь? Живу... Других занятий не появилось!

Впрочем, ты сам знаешь, что единственным серьезным занятием... (письмо прерывается - зашел офицер, толстый капитан и начал отвлекать).

Капитан остался за старшего в кабинете. На столе стоит кулек с кон-

фетами... Да: кулек с конфетами, зеленые горошинки! Он угощает всех: угощайтесь! (делает жест рукой)

У капитана багровое лицо, огромные кулаки. Его легко представить в черном трико на арене шапито, играющим легко огромными гирями. Он сидит за маленьким столом, потя перебирает бумаги, что-то записывает на листке. Составляет финансовый отчет: билеты подклеивает на отдельный лист, записывает копеечные суммы. Бравый капитан! (не путать ради Бога с другим капитаном, моим коллегой).

Я уйду из кабинета-тропического леса.

На стадионе вижу лошадей. Они бегают вокруг стадиона как будто это цирковые лошади, а не спортивные.

Я еду в декабрьском трамвае. Со службы еду к Литераторским мосткам.

В небе розовом и синем - зимнем - солнце сияет блестящим желтым кружочком.

Во мне громоздится собор воспоминаний - это прошлое подобно лентуловской картине во мне выстроилось праздничным собором. Сбылось реченное поэтом: нет настоящего, жалкого нет.

Я - настоящий - жалкий, переводчик офицер Фехтовально-гимнастической школы поглощен огромным пространством собора: моим прошлым.

Линии, придающие форму событиям и людям кривятся, ломаются, создают причудливую композицию.

Что делать с такой памятью? И все же красивый собор торжествует над моим настоящим: само его создание разве уже не чудо?

Пока догадаются, что меня не существует на службе, что я создан ими как поручик Кижэ по русской традиции, пройдет немало времени. И даже тогда, т.е. в момент истины: когда инфантильный майор ничего в мире не любящий больше службы, крикнет мальчиком: а ведь его нет! никто не посмеет доложить об этом "по команде". Скорее всего, походатайствуют о моем переводе в какое-нибудь другое военно-воспитательное заведение, куда меня запишут в штат. Это может быть, например, бывшая Медико-хирургическая академия, основанная еще при Павле. Как говорят французы: пуркуа па?

А пока, я еду в трамвае, а служба моя валяется где-то у подножия храма искусства, памяти, высящейся собором а ла Лентулов, жалким реквизитом, бутафорским бараклом, среди которого валяются марионетки из дерева и папье-маше, похожие на военных чиновников, вольнонаемных и других персонажей, занятых в пьесе.

ПРИЗНАНИЕ

Я люблю тебя такой,
какая ты есть -
с молибденовым блеском
выцветших глаз
и целебным выражением лица,
как у богов и героев
на картинах имени Ильи Глазунова.

Люблю тебя
за бесцельно прожитые годы
под твоей развесистой клюквой,
когда мне было мучительно больно,
но все же приятно
сознавать себя
одним из твоих сыновей-обормотов.

Люблю
твоих патологических гениев:
и доморощенных Платонов,
и спринтеров ума Невтонов, -
которых ты рожала,
рожаешь
и будешь рожать,
пока в подлунном мире
не погаснет последняя
шестиконечная звезда.

Люблю
и клинически здоровых
бесчисленных почитателей твоих
(Господи! прости им, .
ибо творят, не ведая,
а ведая - не творят).

Благодарю
за эту ненависть к тебе,
которую ты мне внушила,
дабы я мог полюбить тебя -
такой вот странною любовью...

Вот уже 30 лет
все люблю и люблю
и не могу остановиться.

* * *

ушная раковина так
витиевата
горит душа творя бардак
грядет расплата
подходит время как часы
к началу боя
бом-бом!
летают две осы:
Зи-Зи и Зоя
они из самых злых мест
из тьмы и вони
неси ты сам себя как крест -
сказали кони
бывает так бывает сяк
бывает эдак
сидел тут Брик а после Брак
седой как предок
Осман сиреневый стоит
и тихо плачет
и кто за этим всем стоит
что ЭТО значит?

* * *

шиповника яблоки красные -
омерзительное зрелище:
перекатываются шершаво
как шавки-шаркуны -
куничьи дети:
дед-и-джавдет
проходящий неслышно как;
кактус
округло цветущий;
Пущин
безжалостно что-то жующий;
ищейка
переосмысленная в лучших традициях
марксистско-ленинского ига;
книга
написанная до сотворения мира;
Ира
маленькая как мышь;
Иртыш;
сонный Худой на припае;
сипаи
расстрелянные некрасиво и грустно;
дуста
след на спине таракана
м е р ц а ю щ и й .

ВНУТРИТВОРЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

...и так захотелось повеситься вниз головой
качаться касаясь губами травы луговой
чтоб из глазниц вместо слез покатались глаза
по волчьей тропе где ногой не ступала коза
где бледной березы слона не касалась рука
где гиппопотам доставал животом облака
где небо лениво лежало себя обхватив
где песни последних жуков догорает мотив
где маленький Ежик сидит и взирает на ны
звучащие смыслы и взгляды повсюду видны
а мы вечереем сердца наши влагой полны
в себя виновато глядим и не слышим страны
странны эти липы и клены и эта тропа
и если ты Че - не зеленый - считай что пропал
пропах пустотой проспиртован "над полем во ржи"
свободы Матрос Железняк уличенный во лжи
лежи и вздыхай на тебя наступают века
вода прибывает вода - уплывает река
строкою ведомый веди меня Рильке-Рабле
по песне козлиной
по тропке
по следу в золе

Доживать, ни о чем не жалея,
даже если итогов (прости!)
кот заплакал. В дождливой аллее
лесопарка (две трети пути
миновало) спрягаешь глаголы
в идеальном прошедшем. Давно
в голове неуютно и голо,
о душе и подумать смешно.
Дым отечества, черен и сладок,
опьяняет московскую тьму.
Роца претерпевает упадок.
Вот и я покоряюсь ему.

Хорошо бы к такому началу
приписать благодушный конец,
например, о любви небывалой,
наслаждении верных сердец.
Или, скажем, о вечности. Я ли
не строчил скороспелых поэм
с неременной моралью в финале,
каруселью лирических тем!
Но увы, романтический дар мой
слишком высокомерен. Ценю
только вчуже подход лапидарный
к дешевизне земного меню.

Любомудры, глядящие кисло,
засыхает трава-лебеда.
Не просите у осени смысла -
пожалейте ее, господа.
Очевидно, другого подарка
сиротливая ищет душа,
по изгибам дурацкого парка
сердцевидной листвою шурша,
очевидно, и даже несложно,
но бормочет в ответ: "не отдам"
арендатор ее ненадежный,
непричастный небесным трудам.

Дворами проходит, старье, восклицает, берем.
Мещанская речь расстилается мощным ковром
по серой брусчатке, глухим палисадникам, где
настурция, ирис и тяжесть шмелей в резеде.

Подвальная бедность, наследие выпренных лет...
Я сам мещанин - повторяю за Пушкиным вслед
и мучаю память, никак воскресить не могу
ковер с лебедями и замок на том берегу.

Какая работа! Какая свобода, старик!
Махнемся не глядя, я тоже к потерям привык,
недаром всю юность брезгливо за нами следил
угрюмый товарищ, в железных очках господин.

Стеклянное время, лиловый аптечный флакон
роняя на камни, медяк на ладони держа -
еще отыщу тебя, чтобы прийти на поклон -
владельца пистонов, хлопушек, складного ножа...

* * *

Всадник въезжает в город после захода солнца.
Весело и тревожно лошадь его несется.
Всадник звенит булатом, словно кого-то ищет.
Не надрывайся, милый, не обессудь, дружище.

Город лежит в руинах, выцветший звездный полог
молча над ним сдвигает бережный археолог.
Стены его и рамы - только пустые тени,
дыры, провалы, ямы в пятнах сухих растений.

То, что дорогой длинной в сердце не отшумело,
стало могильной глиной, свалкою онемелой.
В городе визг шакала, свист неумной птицы.
Весть твоя опоздала. Некому ей удивиться.

Тень переходит в сумрак, перетекает в пламя.
Всадник, гонец бесшумный, тихо кружит над нами.
В пыльную даль летящий, сдавшийся, безъязыкий,
с серой улыбкой, спящей на просветлевшем лике.

ПАМЯТИ АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО

I.

Пощадили камни тебя, пророк,
в ассирийский век на святой Руси,
защитили тысячи мертвых строк -
перевод с кайсацкого на фарси -

фронтовик, сверчок на своем шестке,
золотом поющий, что было сил,-
в невозможной юности, вдалеке,
если б знал ты, как я тебя любил,

если б ведал, как я тебя читал -
и по книжкам тощим, и наизусть,
по Москве, по гиблым ее местам,
а теперь молчу, перечеть боюсь.

Царь хромой в изгнании. Беглый раб,
утолявший жажду из тайных рек,
на какой ночевке ты так озяб,
уязвленный, сумрачный человек?

Остановлен ветер. Кувшин с водой
разбивался медленно, в такт стихам.
И за кадром голос немолодой
оскорбленным временем полыхал.

2.

Поезда разминутся ночные,
замычит попрошайка немой -
пролети по беспутной России -
за сто лет не вернешься домой.

От военных, свинцовых гостинцев
разрыдаешься, зубы сожмешь, -
знать, Державину из разночинцев
не натянуть казенных галош...

Что гремит в золотой табакерке?
Музыкальный поселок, дружок.
Кто нам жизнь (и за что?) исковеркал,
неурочную душу поджег?

Спи без снов, незадачливый гений,
с опозданием спи, навсегда.
Над макетом библейских владений
равнодушная всходит звезда.

Книги собраны. Пусто в прихожей.
Только зеркало. Только одна
участь. Только морозом по коже -
по любви. И на все времена.

Любому веку нужен свой язык.
Здесь Белый бы поставил рифму "зык".
Старик любил мистические бури,
таинственное золото в лазури,
поэт и полубог, не то что мы,
изгнанник символического рая,
он различал с веранды, умирая,
ржавяющие крымские холмы.

Любому веку нужен свой пиит.
Гони мерзавца в дверь - вернется через
окошко. И провидческую ересь
в неистовой печали забубнит,
на скрипочке оплачет времена
античные, чтоб публика не знала
его в лицо - и молча рухнет на
перроне Царскосельского вокзала.

Еще одна: курила и врала,
и шапочки вязала на продажу,
морская дочь, изменница, вдова,
всю пряжу извела, чернее сажи
была лицом. Любившая, как сто
сестер и жен, веревкою бесплатной
обвязывает горло - и никто
не гладит ей седеющие патлы.

Любому веку... Брось, при чем тут век!
Он не длиннее жизни, а короче.
Любому дню потребен нежный снег,
когда январь. Луна в начале ночи,
когда сентябрь. И оттепель, и сырость
в начале марта, чтоб под утро снилась
строка на неизвестном языке.

В долинном городе - пять церквей,
нестроен воскресный звон.
Вокзал дощатый давно в музей
истории превращен.
Здесь нет бездельников, нищих нет
и мало кто смотрит вслед
несущей в гору велосипед
красавице средних лет.

За длинным списком былых удач
и глупостей, за горой
далек и тих паровозный плач,
хрипящий, глухой, сырой...
И только рыбы сплывают, легки,
в потоках прозрачной тьмы,
и друг за другом бегут холмы
по кругу, вперегонки.

Не убивайся - когда оглох
Бетховен, забыл ли он,
что после эха следует вдох
и после молчанья стон?
Дождись рассвета, проси дождя,
стальным колесом стучи,
опровергая и бередя
усвоенное в ночи.

Лавируя, выгибая хвост,
форель говорливых вод
немой свидетельницей плывет
среди охлажденных звезд.
И расстилается низкий вой
гудка над речной травой,
и заглушает его раскат
невидимый водопад...

* * *

Вот я книгу чужую листаю,
растрavляю себя задарма.
Надо мной тишина золотая,
подо мной непробудная тьма.

Изнывая в краях неисправных,
как играл тетивую тугой
мой соратник, умевший на равных
разговаривать с той и с другой!

Усмехаюсь, опять огрызаюсь,
будто лет полтора ста знаком
с каждой строчкой - и смешана зависть
с обожанием и холодком.

Воскресает, колотится, стынет,
лед на свежую рану кладет,
не проси - ни за что не покинет,
никогда, никуда не уйдет.

И пока в заостренном глаголе
пузырится мутнеющий яд, -
под ногами, за пазухой, в горле
говорящие звезды горят.

* * *

И темна, и горька на губах тишина,
надоел ее гул неродной -
сколько лет к моему изголовью она
набегала стеклянной волной.

Оттого и обрыдло копаться в словах,
что словарь мой до дна перерыт,
что морозная ягода в тесных ветвях
суховатую тайной горит.

Знать, пора научиться в такие часы
сырый воздух дыханием греть,
напевать, наливать, усмехаться в усы,
в запыленные окна смотреть.

Вот и дрозд улетает - что с птицы возьмешь.
Видишь, жизнь оказалась длинней
и куда неожиданней смерти. Ну что ж,
начинай, не тревожься о ней.

За головокружительною далью,
где отдыхает житель неземной,

не ведая терпенья и страданья,
которые таскаются за мной -

там хорошо, там в чаще бродит леший,
подругу зазывая калачом,

но человек, смешон и безутешен,
печалится - Бог ведает о чем.

Он раньше жил любовнее и проще,
прислушиваясь к дождю над рощей,

он выбирал меж ветром и огнем -
забудь о нем. Обнимемся, вздохнем -

и отвернемся. Знаешь эти окна
в вечернем небе - шепот сквознячка

иных миров, алмазные волокна,
холодный свет у самого зрачка?

Все это блажь, побочная работа
русалочьей болезни лучевой,

рисующей сговорчивые ноты
на влажной оболочке роговой...

* * *

Куда плывет громоздким кораблем
летучий град в бессоннице осенней?
То в дерево, то в озеро влюблен,
небритый мой зеркальный собеседник
по-рыбьи раскрывает черный рот -
а я молчу и глаз не подымаю.
Так беззаботно радио поет.
А у него мелодия немая
на языке и в горле белена -
корабль плывет, сирены молодые
сидят на мачтах, жизнь еще влажна,
еще легка, еще она - впервые...

Не за горами ранняя зима.
Рассеется туман, сгустится иней.
Один умрет, другой сойдет с ума,
как мотылек в бесхозной паутине.
И человек вздыхает, замерев.
Давно ему грозит зима другая,
все дни его и годы нараспев
на музыку свою перелагая.
А из краев, где жаркий водород
шлет луч на землю в реках и могилах,
глядит Господь - жалеет, слезы льет,
одна беда - помочь ему не в силах.



Борис Вахтин

ДНЕВНИК БЕЗ ИМЕН И ЧИСЕЛ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я пытался вести дневник с именами и датами, но получался пристрастный протокол.

Чтобы была правда, надо выбросить лишние.

Имена и числа - лишние. К тому же они слишком хорошо запоминаются.

Например - это было в пятницу, или первого апреля, или накануне дня рождения.

А то, что мелькает, запоминается плохо.

И это стоит записывать.

Этот дневник един композиционно - как прошедшее время; в нем все можно переставить - как в прошедшем времени.

Прошедшем.

ОЙ, ТРУДНО...

- Трудно тебе придется в жизни, - говорили мне, когда я был маленький и не ел кашу.

- Трудно тебе придется в жизни, - говорили мне, когда я стал старше и не учил уроки.

- Трудно тебе придется, - слышу я сейчас.

ЛЮБЯТ - НЕ ЛЮБЯТ

Женщины любят авантюристов, любят негодяев и проходимцев.

И любят меня.

Женщины любят художников и поэтов, взъерошенных и болтающих о своем.

И любят меня.

Женщины любят путешественников, мужественных и крупных, как Амундсен.

И любят меня.

В какую странную компанию я попал!

МЕЛЬКАЛИ ПРУТЬЯ РЕШЕТКИ

Мелькали прутья решетки, мимо которой я шел, а я думал о том, как умело моя рука исправляет не меня и делает обязательно по-моему и что с этим ничего не поделаешь, а если бы знать, что поделать, то это было бы именно то, что надо. Но для этого нужно ввинтить другую лампочку, то есть не лампочку, а что-то другое, но это другое не ввинтишь и не вывинтишь, потому что это не лампочка. Нужно бы схватить себя за руку, но своими руками схватить себя за свои руки - как это?

И мелькали прутья решетки быстрее, и сад был все виднее за расплывающимися прутьями. И я бежал все быстрее, глядя на отстукивающие дробь прутья и на сад за ними, и, кажется, что-то начинал понимать.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛИЗМА

Они напали на меня среди бела дня в воскресный день.

Я был один, а их было пятьдесят девять, и, пока я среди бела дня бил их пятьдесят девять, они пятьдесят девять среди бела дня били меня одного, и мне доставалось в пятьдесят девять раз умноженное на пятьдесят девять раз сильнее, чем каждому из них, потому что я был один, а их было пятьдесят девять, и все пятьдесят девять били меня одного, пока я один бил их все пятьдесят девять.

И потом я много размышлял в лечебнице обо всем и понял все до конца и вышел законченным социалистом.

* * *

У нас в семье семь человек родителей и один сын.

Его третий отчим и четвертая мачеха пишут бесценные произведения.

И кидают их где попало.

И мой сын ходит ногами по их бесценным произведениям.

В СТОРОНЕ ОТ РИФМЫ

Есть такое слово - приспособиться.

И рифмующееся с ним слово - спиться.

А с ними рифмуется все на свете: и мой друг Витя, и моя женщина Нонна, и летчик-испытатель Тютчев, и новорожденный верблюд в зоопарке.

Я стою и смотрю, как они рифмуются, и то перевожу с древне-китайского, то пью с Тютчевым, то просто сижу и ничего не делаю.

* * *

Они шумели и матерились, как штрафной батальон, ломали двери
изнутри и уходили ко всем чертям.

А я притих на Черной речке и ползал по листу бумаги, как
шелкопряд, откладывая яички букувок.

Каторжник мостит тюремный двор, спина его синяя от неба.

Женщина стирает белье, припав к реке, как конь на водопое.

Пианист тычет пальцами то в черное, то в белое.

Штрафной батальон ломает мою дверь изнутри.

А ЧЕМ ВЫ ПИШЕТЕ?

Одни пишут буквами, другие быквами, третьи бяквами.

А вы, мой друг?

КОГДА ОБРИЛИ ЗЕМНОЙ ШАР

Когда обрили земной шар и надо было все растить сначала,

Когда вымыли небо и надо было красить его заново,

Когда потушили солнце и надо было опять разжигать огонь,

- тогда-то здорово пригодились всякие

бербь,

ууу,

ферть

и

ща.

* * *

Не пиши ты городами, улицами и паровозами.

Не пиши мужчинами, женщинами и катаклизмами.

А пиши ты, дурак, буквами из алфавита:

а, б, в, г, д...

ОТ НЕРОНА ДО ВООБРАЖЕНИЯ - ТРИНАДЦАТЬ СЛОВ

Нерону захотелось посмотреть на пожар, и он поджег вечный город.

Он был болван, лишенный воображения.

ПРОФИЛЬ ПЯТНА

Как вы уже понимаете, леопарда не было
и оспы тоже,
и демонстрация кончилась и все разошлись,
а крыша была дырявая и домохозяйство
не работало.
Как вы уже понимаете.

НАСЫЩЕННАЯ ПЯТКА

Столетиями насыщали голую пятку -
и насытили до краев:

Ахиллесом и щетиной,
салом и нервом,
душой и супостатом,
топаньем и сверканьем,
щекоткой и лизаньем...

ДЕТСКАЯ СЧИТАЛКА

Строили, строили, развалили.
Строили, строили.
Перестроили, перестроили.
Развалили.
Строили, строили, строили...

РАССВЕТ

Узкая оранжевая полоса над деревьями и домами.
Как порез.
И виден край земли в этом порезе.
И хотя еще раннее утро,
и зелень не стала зеленой,
и небо не стало ярким,
но в порезе я вижу далекий край - край земли.
И мне грустно видеть его.

ВЕСЬ СВЕТ, КАК ОН ЕСТЬ

Небо было бесцветным и пустым: ни облаков, ни звезд, ни бога.
Сверху крупно падал свет, невидимый и слепящий.
Свет кололся о сосны и елки.
Прозрачной медузой в небе дневная луна - недвижно.
Так пусто кругом.
- Наполняй.
Какое серьезное слово.
Серьезное - ноль смысла.
Жизнь не коллекция, природа не музей.
Какое мне дело до деталей?
Часто путают детали и жизнь.
Зубрят. И все отдельно.
Считают: один, два, три, четыре...
Ты до скольких досчитал?
А ты?
А кругом такая бесцветность неба, и свет, и сосны.
Ресницы.
Море - глаз без зрачка. Как у скульптуры.
Ничего в нем не отражается - нечему.
Только свет и свет.
Весь свет, как он есть.

Море начиналось у ресниц и кончалось на горизонте.
Поэт сказал бы: кончалось там, где из него пьет небо.
А я скажу: это очень глубокая яма - родина.

ТАК И БУДЕТ

Когда под смех и крики римлян лупили друг друга варвары на арене, то это было зрелище и для патрициев, и для плебса, а гладиаторы были потеха и только, варвары, никакая не трагедия. Цивилизация смеялась свысока, укрепляя себя в своих глазах. Но время пришло, и рухнули их глаза, пропал Рим - где он сейчас? Куда он делся, патриции и плебеи?

Цивилизация смеется над Россией, когда мы, как дикари, пожираем друг друга больше пятидесяти лет кряду. Вы ухмыляетесь по поводу несуразности этого племени, копошащегося над постройкой вавилонской башни, а пока вырванного яму - под фундамент, под фундамент. Вам смешно, и вы растете в своих глазах, потому что нет у вас Сибири. Для вас цирк, а для нас всерьез.

Только зря вы смеетесь, зря и с божеской колокольни, и просто по здравому смыслу, с точки зрения шкуры своей, тонкой шкуры, почти нейлоновой; ей-богу, зря.

ЧТО ИМЕЛ В ВИДУ КИПЛИНГ

Есть у Киплинга стихотворение "Дворец". Строил я дворец; разрыли поверхность - а там фундамент, кладка была неумелой, не стоил план ничего, но на каждом камне я читал: "Вслед за мною идет Строитель. Скажите ему - я знал".

И вот я строил, строил, а потом
Я отозвал рабочих от кранов, от верфей, от ям.
И все, что я сделал, бросил на веру неверным годам.
Но надпись носили камни, и дерево, и металл:
"Вслед за мною идет Строитель. Скажите ему - я знал".

Это о литературе. Для меня, конечно. И не в том вовсе смысле, что вслед за Гоголем пришел Достоевский, за Достоевским Соколов-Микитов и так далее. Для меня Строитель - это время. Именно оно достраивает или разрушает в порошок. Ну подумайте, какой тут особенный смысл, в этой, например, фразе: "В начале бе Слово". Ну бе, и ладно. А что сделало Время, строитель мой славный, из этого бе!

Отдайся Времени; оно тебя достроит, если ты не будешь его обманывать и сам не будешь знать, как и что надо достроить.

АХ, ПРЕДСТАВЬТЕ

Ах, представьте - я взял посох, надел тулуп и с сумкой за плечами пошел по дальней дороге, да, вот пошел по улице Киричной, по Литейному, по Невскому, по Лиговке, по Московскому проспекту в тулупе и с посохом. Мимо хмурых домов петербургских, мимо тонких стенок новостроек с желтыми окнами, с желтым медом внутри, через край, через окна наружу, даже стены вспухли от меда. А я мимо, к высотам под Пулково, Пулково сверху, высоты под ним, телескопы, как храм, а храм уже был на моем пути божий, и не один. А я дальше, дальше, мимо Гатчины, Новгорода, Смоленска. Нет, вы только представьте - взял и пошел. И когда я уйду далеко-далеко, я только тогда оглянусь.

Лев Халиф

ПУЗЕНЯ

Памяти Бориса Вахтина

Непонятной национальности была у собаки морда. Что она делает тут? Хоронит. Скульптурные слезы льет. Чем не человек хвостатый?! Со всем не житейской преданности пример. Нечеловеческой верности по-двиг. Друг четвероногий, ты растрогал меня. Глаза умнейшие, и что тебе в рост не подняться? А, понимаю, - интеллект должен прочно стоять на ногах. Две ноги - маловато. Четыре - лучше. Как тебя зовут, феномен? А, догадываюсь, - ты инкогнито. Семейная тайна. А может, ты чья-то жена? Но все равно - держи себя в лапах...

Сегодня крематорий не работает, но это не значит, что мы бессмертны. Наибольшая наша половина все же тянет вниз и уже занимает очередь к печке. И лишь какая-то часть нашей сути в небо глядит, голубоглазая, будто там ей отчизна. Нет, Вася, мы не бессмертны. Немудрено - мы съели пуд соли, присыпав ею тонну холестерина и растворив все это в цистерне водки, выпитой нами без всякой закуски, ибо после первой не закусывают, после второй - начинают, а после третьей - она уже кончилась.

О, рабочие ягодицы услужливых официанток - биллиарды наших пьянок, скатерть, белая даже в черный день, и назавтра почерк дрожащий, не желающий для денег писать, бикоз гениально пишут всегда бесплатно. Что граф, что дворник - что Лев, что Андрей. Первый, правда, был помещик Толстой. Но и второй - Платонов - писал не для денег - с голоду умер. Нет, презренный металл не мешался в их голос. Шелест бумажных купюр - шедевры.

Громовый, и куда же ты сник? И это почему ж я тебя не слышу, тем более в гробовой тишине. В очереди, почему-то молчащей. Ты всегда пере-крикивал очередь, Вася. Живую, но не эту живую очередь мертвецов, засекреченных, как почтовые ящики, сплошь увитые, украшенные и просто дощатые - и без муаровых лент и плюмажей понятно, кому и что послано.

Многоликие, а все на одно лицо. Очень скуластое без локтей. Вдруг при-
смирившее, наконец-то, воспитанное лучше позже, чем никогда. Гладкое,
круглое - никаких угловатых движений с обязательной нетерпимостью
русской, на фоне которой Запад вообще Дом Терпимости. До чего же ты
выдержанным стал, Вася. Ты ли это?

Нет, не ты. Ты давно сгорел. Давно обуглился, как танкист в запы-
лавшем танке. И тебе не нужно ждать своей очереди, чтобы снова гореть.
Я всегда понимал тебя с полуслова...

И мы из общего хора выбегаем солистом. Нам всем небом хочется
плакать, потому что смеяться в данном случае грех. О, короткая жизни ча-
стуха. И ничего-то ты длинного не написал. Фундаментального, полагая,
что сам фундамент. Быть тебе, Вася, в земле - в крематории сегодня басту-
ют. Обязательно что-нибудь вырастет на тебе. А пока - ты прав - нам самое
время на воздух. И в жизни и в смерти нам эта т а к ж е с т ь невоготу -
сачнесс, как говорят здесь средние американцы, очень средние, я среди
них живу.

И мы начинаем не с похорон, а с поминок. Вечный огонь, в данном
случае он не из мрамора светит. Не слишком торжественный, он в нас го-
рит.

- В "Пузеню"! -приказывает Вася, потусторонний уже.

- В "Ле пети бедон"? - уточняю я - еще живая легенда, - в знамени-
тое наше "Брюшко", что в 16-м районе несравненного и всегда Парижа, на
улице Перголезе, возле Булонского леса, где закуски - с ума сойти - экста-
зы, ступеньки, подступы к главным блюдам. Где даже французов здешнее
пиршество в состоянии удивить, хотя что еще может удивить французов,
считающих, что именно они изобрели еду (книгу и женщину они на после-
обеденный перерыв отложили). Где устрицы огромны и глубоки, а не пло-
ские, что встретишь у всякого моря...

- И, конечно, знаменитый гусиный паштет, - и Вася слюну глотает, -
и что-то говорит про крестьян, которым, видите ли, еще не надоело свое
драгоценное время тратить на не в меру разборчивых деревенских гусей,
три раза насильственно их кукурузными зернами пичкать, как минимум в
течение трех недель, чтобы печень их увеличилась - и вот он паштет не-
превзойденный...

- Превзойденный, - немедленно возражаю ему, - есть "Фуа гра" - печень
утки, раздраженная орехами и шоколадом. Холодная и горячая в соусе из

Арманьяка с виноградными ягодами к ней. К холодной еще дают горячие тосты.

- А тельца эскарго, то бишь виноградных улиток, в слоеном тесте все еще там подают?

- И лягушачьи лапки, где много помидоров и чеснока, не говоря уже о копченом луарском лососе и земной амброзии - черном трюфеле, вырытом в Перигорском лесу специально обученной хрюшкой - она профессор его откопать. Ты что же, Вася, давно там не был? Ты так говоришь, будто не был вообще... Все же изредка, а мы на Париж налетаем, рискуя жизнью в "ДС-Тен", ибо все, что дешево, то рисковно. Но какой же кайф живым приземлиться в Париж, начиная его непременно с площади Инвалидов, ошеломляющей после заокеанских трущоб. Именно туда нас привозит из аэропорта автобус. Мост через Сену - и вот он начался рай.

-...Из блюд мы возьмем медальон из мяса косули. С брусникой, пюре из картофеля и каштанов, с мелкими овощами.

- А как насчет жареного мяса с белыми грибами? - видно, аппетит его еще жив (человек, человек, а аппетит все же зверский).

- В соусе из "Фуа гра" со свежей, слегка тушенной израильской капустой, которая не образует плотного кочана, а растет почти как букет. И еще, конечно, сладкое мясо - щитовидную железу теленка со сморчками. А может, утку, сваренную в собственной крови?...

- Нет, лучше петуха, сваренного в чужом вине, - отвечает Вася, - с ломтиками бесподобной их ветчины. А еще лучше цыплята, выращенные на фермах Брессе и "Тру Норман" - норманскую дыру, чтобы продолжить..

Ай да Вася, он знает толк - это кальвадос 1966 года - магма, ну до чего же живительная!

... - Ну и конечно, сыры, которые не имеют равных в мире - "Роблешон" и еще обязательно козий, к нему же "Рокфор" и редкий даже в Париже "Вашран", который черпают ложкой, как густую сметану. Зацепишь его серебряной, и еще неизвестно, кто кого зацепил...

- Ну а пить - с аперитива начнем и шампанского, и не с какого-нибудь "Клико", от которого у туристов умиления слезы.

- Дикари, это же самое здесь плохое вино!

- У французов вин плохих не бывает, - возражаю я Васе, - скажем мягче - нелучшее, идущее в Америке по цене знаменитого. Разумеется, мы

настоящее с тобою возьмем, чьи пузырьки что икра. Кстати, русскую мы закажем.

- Беспорно. Я по-черному ностальгирую по черной икре и еще по черному хлебу.

- Его нам заменят знаменитые французские блинчики из черной муки. Далее пойдет молодое бургундское четырёхлетнее...

- "Кот де нюи виляж," - подсказывает Вася.

- Да, что-то вроде деревенского вина с ночного берега.

- Ну а дижестив (после еды)?

- Э, под занавес мы возьмем Арманьяк 45-летней давности из лучшей провинции Арманьяк - Баз Арманьяк. Гулять так гулять...

- Э, мы про десерт забыли - ломтики свежего манго в соусе из "Фрюи де ля Пассьон"...

- "Плоды страсти", залитые соком малины, а также 5 - 6 сортов фруктового и медового мороженого своего изготовления, залитые на тарелке горячим шоколадом... Да ты сладкоежка, Вася!..

Но большая лакомка - смерть.

Париж конец ноября 1987 г.



МИР-МЫЛОВАР

И сколько б ты жизнь - говорю же я! - не миловал,
И сколько б ты не пил из извечно-сухой ладони,
И пускай бы и допил, чего уж... - мир-мыловар
Уволочет все одно ее в черном своем фургоне.

Видишь? - приотставшего дыма лысеющее кольцо,
Передергивающаяся спина прихрамывающего мыловара
И она, что взглядом прощальным в твое другое лицо
Его навеки отмеловала.

Свет очищенья, очерк иного дня
И перекрещивающиеся лучи на темном все еще теле -
Вот что останется - говорил же я! - от меня.
Все, что останется в памяти и на прицеле.

1987

ПРОЩАНИЕ У МОСТА

Грибным, грубошерстным мясом
Гранит чернеет с излома,
Вдыхая всей плотью свеченье
Узенького заката...

О столь здесь река поката,
О столь здесь ее теченье
Наклонно к небу, что с лона
Соскальзывают лучи.

И этим прощальным часом
Так розовато, так серо
В каменном вертограде,
Особенно здесь, у моста...

Лучам, тем проститься просто. -
И даже на Германдаде
Несколько их осело,
Чтоб умереть в ночи.

1989

ГОСТЬ

Черноречного неба излучина,
Где ограненных волн - без числа,
Где луны полусубилась уключина
От безвидного тренья весла;
Где миры с их сияньем и косностью
Из окошка - как рябь да струя..;
Где по ленте с единственной плоскостью
Все скользит - недвижима - ладя.

И такое тут слово напишется,
Что обуглится перышка ость:
Там, внутри, у бесснедного пиршеста,
Есть не званый, но избранный гость.

Он сырой раскоряченной карлюю
У стола дорогого воссел;
Ни стыдом не удержан, ни карюю,
Красной утварью загремел;
Да как схапает брашно заветное!
Он слепец, попрошайка и вор.
И вино заповедное, светлое
Так и плещет из звездных амфор!

Ну и как его, скучного, вынести?!
У хозяина - мрак по лицу...
Эк бы взять, да и вон его вывести...
...Да куда ж ему деться, слепцу?

И хозяин глядит не навидится.
И молчание тягостней тьмы...
Ну когда же он, наглый, насытится
И потянет псалтирь из сумы?

1985

ОДЕССА

У свисших куп - ни степени, ни веса...
Лишь свертки тополей на голове...
Куда же ты заехала, Одесса,
На зелени, на семочках, мове?..

Не чувствую ни грека, ни еврея,
Лишь полный и рядяньский человек...
(В дрожащих пальцах музыка, хиря,
Касается смежающихся век.)

Я шел пустым путем сквозь дни пустые
От города в зеркающих тисках...
(Рекой не двинув, сжались России
С Москвою бессердечной на руках) -

И вижу я, как можно - как с одежей -
Чужую жизнь с чужих плечей согнать,
Как можно жить в отчизне, как в прихожей,
Как имени ее не вспоминать.

1983

ЛЕНИНГРАД

Какая-то убыль почти ежедневна -
Как будто рассеянной свет,
Как будто иссохла, изжестчилась пневма,
Как будто бы полог изветх;

Как будто со всякой секундой грубее
Обрюзгшая плоть у реки,
И даже коротких лучей скарабеи
На ней и тусклы, и редки;

Как будто все меньше колонн в коллоннадах
Когда-то любимых домов,
И все тяжелей переносится на дух
Кровавых заводов дымок; -

Как будто кончается сроками ссуда
И вскорости время суда;
КАК БУДТО БЫ КТО-ТО ОТХОДИТ ОТСЮДА
И НЕКТО ЗАХОДИТ СЮДА.

1990

ИСПЫТАТЕЛЬ РУССКИХ РЕК

Сколь ни пил я из русских рек,
Но воды я ни разу не пил:
Скользкий воздух земных прорех...
Тонко-пресный прогарный пепел...
Кроволитье железных жил,
Жил, которым и вскрыться негде...
И двоящийся звездный жир,
Что на невской распущен нефти...

Равнодушно я брал рукой
Закоснелое семя Волги...
А в московской коре глухой
Волны ветошки были волглы...
Я свое узнавал лицо
В амальгамной бегучей персти...
Знал Реки Окружной кольцо
Как заросшее мглой отверстие. -

Океан ведь не Самбатьон,
Ну а я - не днепровска птица:
Не молением, так битьем
Он понудится расступиться,
Это скоро (хотя не спех),
Ведь взошел я по всем теченьям,
Русских рек я коснулся всех
За единственным исключеньем. -

Да, лишь только одной из них
Мне покуда нельзя касаться,
Потому что чужой двойник
Может в зеркале оказаться,
Потому что когда-нибудь,
На истеке последней дневки,
Мне придется еще хлебнуть
Черной водки из черной Невки.

1990

ХОР НА ЧЕТЫРЕ НЕВСТРЕЧИ

с т р о ф а I

По кому склизкой вицей
Дождь хлестнул дыролицый?

Кто не знал урок?

И для чьих ауспиций

С мутной выси смутной птицей
Казан броский кувырок?

а н т и с т р о ф а I

Сколько костных, дрожащих

Лестниц в перистых чашах

Ночи, ткущей чад! -

Но не щелкнет ни хрящик,

А из всех купин горящих

Ни словечка - все молчат.

с т р о ф а II

А на склизких высотах

Мертвый мед в черных сотах

Кто по ветру льет?

Кто, скрипя на воротах,

Птиц скликает криворотых,

Но не видит их полет?

а н т и с т р о ф а II

Громный Голос из мрака

Разогнал волны праха

Мусорной зимы, -

И расчистилась плаха...

Но - полны тоски и страха -

Ничего не видим мы.

1990

ХОР НА СЛУХ И ЗРЕНИЕ

с т р о ф а

Лязг дождя и шуршанье снега,
Скрежет шероховатых градин -
Вот и все, что пока что с неба
Услышано было за день.

А не услышано было за день:
а/Пэанический блекот дядин;
в/Стук-пристук трамвайных гадин,
Рассевающих гроздьа сверку;
с/Урчанье воздушных впадин,
С трубным дымом прошедших сверку;
d/Церковный скрипучий складень... —
Это все неслышимо сверху.

а н т и с т р о ф а

Плоский луч, облаками скраден,
Свернут в розу, на радость Гафизу , -
Это все, что пока что за день
Услежено было снизу.

Но не услежено было снизу:
а/День разнимает земную линзу;
б/Верхняя створка с солнечной слизью
Меркнет, во гнутый мрак уводима;
в/Сдается таянью, сгрызу
Верхняя, смутно-кривая льдина;
г/Ангел с кожей срывает ризу... —
Это за день неуследимо.

1990

Three Times the Same

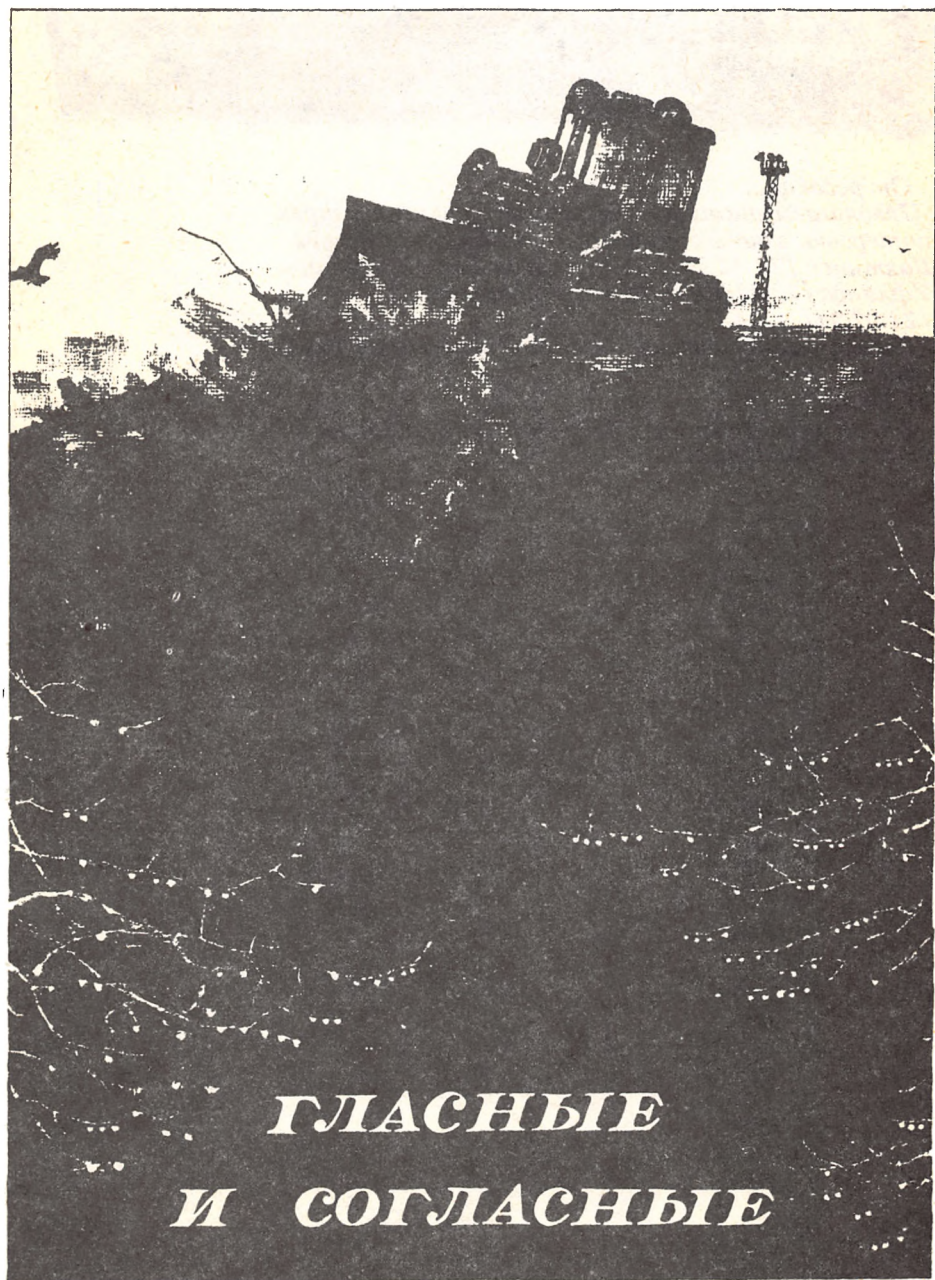
Меркнет облик тщедушная жизни. -
Вмиг кончается, как ни начнись,
Златогрубными в зрительной линзе
Волосками парчовых ночниц.

Чуть помыслишь в пере изготовить
Насекомого шороха рой -
Вмиг спирально вкружается овидь -
Запятой в темно-радужный слой.

Не успевший довоплотиться,
Треугольником ртутных лучей
Мир вонзается - мертвая птица -
В роговые воротца очей.

1989





***ГЛАСНЫЕ
И СОГЛАСНЫЕ***

"ГОРОЖАНЕ"

Борис Вахтин, Владимир Губин,

Игорь Ефимов, Владимир Маразмин

Д.:

БОР:

От редакции:

Предлагаем вниманию читателей фрагменты трех интервью, взятых редакторами "Сумерек" у Ирины Вахтиной / 12.12.90/, Аллы Коврижных и Владимира Уфлянда / 23.12.90/ и Александра Антонова / 21.01.91/.

Главная тема - группа "Горожане" в литературной жизни 60-70-х гг.

В ближайших номерах - произведения Владимира Губина и Игоря Ефимова.

і

Ш

Оз

Но:

Паг

Анас

ТРИ ПОВ.

Летчи

Ванька

Абакас

ё

ВЛАДИМИР ГУБИН

Е

Восемь р:

цехе..."

женька с і

ЦВЕТ НЕБА. ПО

ИГОРЬ ЕФИМОВ

Расс:

Скрытый смъ

Я забыл наз

Автоматика..

В. Марамзин

Памяти

Вахтина

Рассказы

писате- боятся
лвуной по-
юд зна-
...

ДАР. По поводу этого сборника.....

ВАХТИН

Рассказы

пивного ларька.....

еловек из Вышнего Волочка.....

мо теплого дыма.....

дичное дело.....

рка страна моя родная.....

БЫШЯ темная л.....

цы в море

тний

Э.

И С ТЬ

ютчев, ..

ИН.

удивленно

ОГИ.

казы

азов из цикла "У нас в механическом

планеты.

Б.

Монтеки и Капулетти.....

НАЧАЛЬНИК СТЕНДА.....

ВЛАДИМИР МАРАМЗИН

Рассказы

Я рад рекомендовать писателей, которые подирают меня ногами на своих плечах. На плечах своего поколения Я чувствую их ноги на еще и спину, чтобы они взобрались выш

Это и есть живой процесс литературы.

Д. ДАР

1985

А. Д. ДАР

Ленинград

литературу краткостью, тщательностью, простотой жизни и дорогой языком. Возможно, в то время хватало драматичности — мало постсталинское, у всех надежды. Впрочем, у молодых радость всегда берет о бы им ни пришлось переносить отличала от нас образован над ним стояла тень Украины с любимым Николаем Васильевичем, за ним глуманно шевел, Китай, он любил Россию — моль, даже неестественно, пременно любил страну в ущерб лю ее населяющим. Впрочем, он не волил себе поймасть в ловушку сударственного подхода, и для та людей, как Палиевский

каждый на крашенные Правда, год от годней держать себя так, в 17 году ничего не случилось. иразм вокруг крепчает, сил убавляется, а письменность рвется вон из стола.

В 1964 году (хорошо помню, это было тоже в ноябре) мы собрались у Вахтина (Б. Вахтин, В. Губин, И. Ефинов и я), жившего тогда на Черной речке, чтобы выпустить сборник, объединивший нас в литературную группу «Горожане». Эта была мысль Вахтина. Задолго до нашумевшего «Метрополия» он хотел продемонстрировать готовность молодых писателей сделать первые шаги. Вы не желаете выпустить наши книги — выпустите одну на четверых. Вы недовольны самиздатом — печатайте нас, хотя бы смехотворными тиражами. Первый сборник пробил брешь, у каждого взяли что-то в печать, хотя и не книгой, а в альманахах — чтоб замять скандал. Второй сборник замолчать не удалось. Глядя на тепись (и отсюда), я думаю, что с того момента наша жизнь в Ленинграде кончилась, остальное был вопрос времени. Из четверых теперь остался в Ленинграде лишь В. Губин. Я всю жизнь буду числить себя в «Горожанах».

Позднее, уже здесь, мы узнали об активном участии Вахтина в

32

351

435

472

-Что вас объединяет? - спрашивают нас. - Почему вы хотите вместе? Вы и не похожи совсем и ростом разные - так зачем все это? Может, вы хотите писать справа налево? или сверху вниз? Вот вы собрались, а остальные? Вы что, против остальных? или за? Что все это значит, наконец, ведь так никто не делает? Нет-нет, или ответьте на все эти вопросы, или немедленно расходитесь!

Сначала нам казалось, что наш единственный ответ должен быть так всем понятен - мы любим друг друга. Неужели это неясно? Мы любим бывать вместе, любим разговаривать, нам все интересно, что происходит с каждым из нас четверых, и что он об этом думает, и что при этом переживает, но главное - мы любим читать друг друга. Мы испытываем при этом непонятное удовольствие, здорово смягчающее по всем приметам на то "наслаждение прекрасным", которое нам с малолетства было обещано всеми учителями и экскурсоводами в музеях. Нам смешно возводить друг друга в гении или предсказывать порядковые номера наших мест в мировой литературе, и единственное оправдание, которое мы имеем пока для творчества друг друга, - свой собственный не подлежащий сомнению восторг. Но мы же, при этом, и самые страшные судьи для самих себя, те редкостные читатели, на чей упрек невозможно воскликнуть в душе "много ты понимаешь, кретин несчастный," и на сем успокоиться. Так неужели всего этого недостаточно.

/ "Горожане" о себе /

"С." - Какова судьба этого сборника? Они представили его куда-нибудь?

Ирина Вахтина - Они его представили в издательство "Советский писатель", им вернули. Они переделывали сборник, снова носили в издательство, но безрезультатно.

"С." - Лично они были друг другу близки?

И.В. - Они были очень дружны. Володя*, пожалуй, чаще всех забегал. Мы жили на Черной речке, потом переехали на улицу Петра Лаврова. И там, и там Володя был постоянным гостем, другом и со-литератором. Они очень дружили. Володя необыкновенно тепло и хорошо относился к Борису. Игорь** немного меньше заходил к нам, хотя тоже бывал часто. Володя Губин, пожалуй, меньше всех, и как-то раньше всех и прочнее всех он исчез.

Борис вообще был невероятно общительным человеком. Он всегда выискивал, откуда-то притягивал к себе огромное количество людей. Дружил с ними и, как правило, это было очень надолго. Были, конечно, чтения. Недавно мы с сыном вспоминали, как он читал "Деревню**** дома. Но я не помню людей, которые ее слушали, потому что в доме всегда много было народу, очень. Моя забота была напоить всех чаем.

*Владимир Марамзин /здесь и далее прим. ред./

**Игорь Ефимов

***Борис Вахтин. Одна абсолютно счастливая деревня /первая публикация: "Эхо" № 2, Париж, 1978/.

У меня всегда было такое впечатление, что все собирались у нас. Может быть, такое впечатление у каждой хозяйки. Во всяком случае, у нас всегда было очень много народа, потому что Борис всегда всем был рад; и я старалась этому способствовать, потому что это ему было совершенно необходимо. Он готов был раздать себя, все отдать - никто не хотел брать. Но, как выяснилось, потребность у людей осталась, - раз мы сегодня разговариваем об этом.

Вообще, попыток выхода к людям было очень много. Было выступление на телевидении - литературный вторник 4-го января 1966 года. Я даже не помню, как это получилось. Очевидно, редакторы, которые там были, Копылова и Муравьева (по-моему, еще Шварц была здесь), предложили Борису сделать литературную передачу, пригласить людей. Он был очень счастлив, когда делал это. Тема была русский язык. Происходило какое-то возрождение этой темы, и Борис собирал людей, составлял сценарий. И после этого получилась передача, по-моему, часовая. Мы смотрели ее, и нам показалось, что неплохо, а на следующий день начали подходить люди, поздравлять, пожимать руки, даже мне. И потом пошли всякие неприятности. Сняли директора Ленинградского телевидения Бориса Максимовича Фирсова.

"С." - А что усмотрели власти предрержащие крамольного?

И.В. - Участники передачи говорили, что не надо переименовывать старые русские названия улиц непонятно в какие и в честь кого. Они говорили, что не надо разрушать старые русские храмы, потому что это тоже русская культура. Они говорили нормальные вещи, сейчас бы этого никто не заметил.

"С." - Уфлянд шутил, что еще бы немного, и Вахтин сказал бы, что надо переименовать Ленинград, вернуть старое название.

И.В. - Он этого не говорил, конечно. Но был очень доволен передачей.

Борис Вахтин видел дело своей жизни не в политической борьбе, а в сильном участии в историческом процессе сохранения и развития национальной культуры. В течение более чем двух десятилетий он был инициатором и организатором многих событий, без которых культурная жизнь Ленинграда была бы неизмеримо беднее. Об этом еще много будут писать; мне хочется вспомнить два эпизода, в которых я участвовал. В январе 1963 года он организовал мой доклад в ленинградском Доме Ученых. Это было через полтора месяца после "хрущевского погрома" на выставке в Манеже, в период, когда художники-абстракционисты приравнялись к "идеологическим диверсантам". Доклад под названием "О возможности моделирования творческих процессов живописи" содержал теоретическое описание процессов создания и восприятия абстрактных картин и вызвал остротную дискуссию. Через пять лет, в январе 1968 года, Вахтин организовал ставший знаменитым "Вечер творческой молодежи" в ленинградском Союзе Писателей. Вечер включал выставку и обсуждение моих абстрактных и религиозных картин и чтение своих произведений лучшими поэтами и прозаиками тогдашнего Ленинграда - в частности, впервые после

ссылки выступил перед столь широкой аудиторией Иосиф Бродский. Собралось несколько сотен человек, вечер был чудесным. Наутро последовали доносы, расследования и преследования; все шло своим чередом.

/Яков Виньковецкий. Быть живым(памяти Бориса Вахтина)./

И.В. - Вечер включал выставку и обсуждение абстрактных и религиозных картин. Я помню этот вечер. Это был такой сумбур, столько волнений, столько народу, что нельзя было войти в зал, и мне удалось только через щель в двери увидеть Бродского и услышать, как он читает свои стихи. Я поражена была этим удивительно музыкальным чтением.

Владимир Уфлянд - Зал был набит битком. Там действительно, читали все очень свободно, зачитались... После этого должны были выступить молодые артисты - Юрский, Рецептер... На них уже времени не хватило, а может быть, они, хотя времени уже было 11 часов, почувствовали, что атмосфера не та. Там практически все сумели выступить: Сережа Довлатов, Яша Гордин, Валерий Попов, Глеб Горбовский, Татьяна Галушко... И меня не столько зал поразил. Когда мы вышли в фойе смотреть картины, то их невозможно было увидеть, потому что там просто нельзя было развернуться. А потом сразу этот донос Щербакова и Утехина, который сейчас главный редактор "Ленинградской панорамы".

"С." - А суть его, суть доноса?

В.У. - Суть доноса в том, что сионисты устроили шабаш, сионисты, значит Бродский, Довлатов, Попов, Уфленд, так меня там назвали. И Толстикovu донос послали, там нашли виноватого, сняли директора Дома Писателей Миллера. А потом, кстати, через несколько месяцев и сам Толстикov полетел...

Но вот горе - не выйдет из наших ответов ни грозного манифеста, ни потрясения основ, ни свержения памятников. Мы ничего не изобрели заново, а только захотели связать оборванные нити многих традиций, ибук и наши дни не выпали куда-нибудь в сторону из всеобщей истории искусства. Таоке уж это странное время, что появляются повсюду какие-то молодые люди, одетые часто по моде и не без щегольства, которые приходят и без крика начинают делать обычное дело литературы, растят его дальше из своей души, как это делалось во все времена и у всех народов, хотя никто их не звал и не учил этому, а, наоборот, учили, что сейчас время для какой-то совершенно новой и совершенно другой, может даже и не литературы вовсе, а черт его знает чего. И пришли они делать эту работу литературы, как приходят невоенные мужчины делать тяжкую работу войны, потому что надо же кому-то ее делать и много окопов кругом опустело. Так что все то, что нас от них, от остальных, отличает и спланивает между собой, так это глупейшая надежда и мечта, что нет сейчас во всей нашей земле окопчика главнее нашего, и глупее такой мечты может быть только одно дело на свете, именно, чтобы, ее не

имея, браться за перо и лезть в такой окопчик по доброй воле. А в остальном мы ужасно старомодны, мы ничего не выдумали первые, и на возмущенные крики, что все это уже было и много раз разоблачалось, мы можем ответить только одно - и слава богу: раз было раньше, есть сейчас, значит и дальше будет, всегда.

/"Горожане" о себе/

"С." - Расскажите, пожалуйста, о поездке Бориса Вахтина в Китай.

И.В. - Я должна вам сказать, что Борис рвался в Китай с тех пор, как он поступил на I курс восточного факультета, а было это в 49 году. Была дружба с китайцами, учившимися здесь. Боря их учил русскому языку, они его китайскому. Были люди, которые дружили с ним и приходили в дом. Борис просто понимал, что, если не поучиться в Китае, не будешь китаистом. Это то, что ясно сейчас всем нашим китаистам, кто учился вместе с ним. И китаисты всех стран мира опережают их именно по этой причине. Бориса не пустили ни на III курсе, ни на V, хотя он составлял какие-то огромные проекты, планы, отмечал пункты на карте. Почему не пустили? Я думаю, что и из-за отца, и потом, он просто был очень нестандартный человек, он не вписывался, он был не под контролем. Он свободно мыслил, он свободно вел себя. И наверное, никто не хотел поставить свою подпись из тех, кто должен был это сделать. И наконец в 66 году, когда там уже началась культурная революция, ему представилась возможность попасть в какую-то группу, которая ехала туда. Причем она ехала на празднование 1 октября, годовщины революции. Народ был не очень ему приятный, так мне показалось по тому, как он об этом потом говорил. Он обычно становился довольно близким другом человека, с которым проводил какое-то время, а тут они съездили в Китай, вернулись, и ни одного близкого друга не образовалось из тех людей, которые с ним туда ездили. Он оттуда привез, конечно, массу впечатлений. У него был маленький красный цитатничек. Он списывал дацзыбао.

Когда он оттуда приехал, началась общественная, очень бурная жизнь. Ему заказывали лекции. И общество "Знание", и всякие институты, университет. И он с огромным интересом и удовольствием эти лекции читал. Рассказывал то, что он там видел. Рассказывал об этом народе. Он очень бережно относился к этим людям и очень боялся их подвести, китайцев.

Впечатления были очень интересные. Цветовое впечатление у него было красно-серое. Едва они переехали границу - сразу совершенно серая земля, серые дома, серые фигурки людей и огромные красные знамена, полотнища, дацзыбао, раскрашенные портреты Мао цзе-дуна. Они были на площади, на которой проходил парад, на которой было все китайское правительство, центральный комитет, и они ушли с трибуны всей делегацией, когда в адрес нашей страны были сказаны какие-то нехорошие слова. Борису было там ужасно трудно. Он хотел куда-то пойти, он хотел каких-то контактов, он хотел что-то увидеть за этими стеночками, за которые нельзя было зайти. А нельзя было с двух сторон, потому что и наши следили. У него есть

чудный рассказ "Собрание на озере Сиху" о том, как он на какое-то время исчез, сумел убежать от товарищей, которые непременно должны были ходить вместе с ним, и потом его "разбирали". Поскольку заниматься этим в гостинице было нельзя, чтобы не услышали китайцы, то все происходило на берегу озера. Ему долго-долго объясняли, что так за границу не ездят, что ходить можно только всем вместе, только всем вместе гулять по улицам. Он выслушал все это, а потом показал глазами на кусты: за кустами маячили головы двух китайцев. Это были рыбаки, прекрасно слышавшие весь разговор.

Это давало ему, конечно, какой-то импульс в жизни. Знаете, есть люди, которые могут сидеть в своей комнате и всю жизнь писать "в стол", это их не убивает. Бориса это абсолютно убивало. Он не мог так, ему нужен был немедленный контакт с людьми. Что бы он ни делал.

Алла Коврижных - Когда он начал с нами сотрудничать*, его оторвали от работы над сценарием, он уехал в Китай. Самое страшное время, когда о Китае мы ничего не знали, это была какая-то закрытая темная тема.

Он вернулся. Мы собрались в директорском зале, и он рассказывал нам часа три все, что мог, потому что была закрытая аудитория и можно было говорить обо всем, что он там увидел. Это была страшная информация.

За свои полвека он прожил по крайней мере три жизни - жизнь писателя, которого не печатали; жизнь ученого, которому не дали осуществить его замыслов; и жизнь общественного деятеля, не занимавшего никаких постов.

/Яков Виньковецкий. Быть живым/

"С." - У него есть статья в сборнике "Буддизм, государство и общество" о восточной поэзии. В преамбуле статьи он рассказывает о китайском чиновнике, который приходил из присутствия, снимал чиновничье облачение, садился за стол и писал чудные стихи.

Расскажите, как был построен день Бориса Борисовича?

И.В. - Он имел какие-то присутственные обязательные дни. Ходил в институт. Мне кажется, что там у него были хорошие отношения с людьми, с служащими... Во всяком случае, до сих пор эти люди приходят в день Бороного рождения сюда, и, как я чувствую, отношения были очень теплые. Были всегда очень большие трудности с начальством. Один раз начальник даже ему сказал: "Если бы я знал, Борис, что ты сделаешь завтра, я бы знал, что мне делать сегодня". Ему были тесны рамки, он все время старался за них выйти. Он много, конечно, занимался Китаем, он делал переводы, он сделал две огромные работы, которые до сих пор не опубликованы, они идут, но

*Имеется в виду работа Б.Вахтина в качестве сценариста на III объединении киностудии "Ленфильм".

идут очень медленно. Эти работы отнимали очень много времени, и Боря много над ними сидел, но потом с большим облегчением уходил в русскую литературу. Он вообще был человек, который не терпит слова "должен". Если он должен идти на службу, ему уже не очень хочется. Если бы он был должен писать свои вещи, которые он писал с обожанием всю жизнь, может быть он как-то не мог бы так им себя отдавать. Китаистику он должен был делать, и мне казалось, что он любит ее гораздо меньше, чем литературу.

"С." - Когда он осознал себя писателем ?

И.В. - Такого года не было. Я узнала его, когда ему было 15 лет, и, по моему, еще неполных. Он уже знал, что он писатель, он уже мне говорил, что что-то пишет, что-то мне читал.

"С." - Как на его взгляды повлияла мать?

И.В. - Ее влияние было сильным. Он ее очень любил и очень ценил, как литератора тоже. Иногда немного иронично относился к чему-то, но он понимал ситуацию, в которой она находилась. Долго Вера Панова была единственной работоспособной в семье, где были трое детей и две старых женщины. Она прожила героическую жизнь.

Только под конец жизни она стала писать, как она могла.

"С." - Б.Б. занимался ее публикациями?

И.В. - Мало. У нее была сказка "Который час", совершенно не в ее стиле, фантастический опус с какими-то намеками на диктаторов. Борис сделал предисловие к ней, и она была опубликована уже после ее смерти. Конечно, был очень большой пресс над ним, ему было трудно не только как сыну из-под руки матери, которую он очень любил всю свою жизнь, но и из-за отношения окружающих, потому что все говорили: "Ну конечно, он тоже хочет писать, как мамочка. Поэтому он никогда в своей жизни такими тропинками не пользовался, и она ни в чем не помогала ему, кроме, может быть, советов, потому что он все ей давал читать. Она считала, что он талантлив очень, в ее воспоминаниях есть фраза о том, что Борис литературно одарен больше других детей.

А.К. - Вера Панова была очень деликатным человеком. Она была прелестной женщиной, с ней было очень интересно дружить. Она рассказывала о своих детях, о своей жизни. Мы слышали о них раньше, чем познакомились, про этих 2-х талантливых мальчиков. Один - крупный биолог. Боря - китаист, востоковед. Она нам рассказывала, что он пишет. У них дома по этому поводу были разные дискуссии, противоречия, противостояния, потому что вы знаете, кто такая Панова, и, естественно, Борис делал все наоборот, в своей жизни, в своем творчестве.

"С." - А в социальном плане имя матери играло какую-нибудь роль защиты, уравновешивало ли репрессированного отца, вот в то время: конец 40х и начало 50х. Помогло ли это в получении образования?

И.В. - Возможно. Я не знаю, что бы грозило Борису, если бы не это. Он всегда блистательно учился. С тех пор как он приехал в Ленинград и поступил в 8 класс /в общем-то с нуля, потому что была война, не было никакой школы/, он учился на одни пятерки, закончил школу с золотой медалью, был принят в университет без экзаменов и толь-

ко на втором курсе получил "другую отметку" - двойку за экзамен по марксизму-ленинизму.

"С." - Из сборника* , из других его вещей создается образ человека, который город своими подошвами знает. Как он общался с городом? И.В. - Он очень хорошо знал город, хотя он не был, мне кажется, пегтербуржцем, фанатически преданным этому городу. Он ведь много лет прожил на Украине, много детских лет. Под этим баснословно прекрасным солнцем украинским. Много раз он говорил мне, что Ленинград - очень трудный город.

Маленький, он жил на Карповке. Мы с ним познакомились, когда его мама привезла обоих братьев уже после того, как Украину освободили из-под немцев. Они жили на Украине в деревне всю войну с бабушками - мальчики, два брата. Их мать по литературным делам со своей старшей дочерью от первого брака оказалась в Пушкине, и, когда немцы заняли Пушкин, она тоже очутилась на оккупированной территории. И вот по немецкой территории с 14-летней девочкой она дошла до Полтавской губернии и пришла в дом, туда, где были ее мать, свекровь и двое мальчишек. Это путешествие описано ее дочерью Наташей.

Когда немцы уже уходили из этого села, они приказали всем быстро собирать вещи и строиться в колонну для угона в Германию. Многие так и сделали, а многие ушли в лес, и через неделю кто-то из мальчишек, которые бегали туда-сюда, сказал, что наши уже в деревне. И они вышли из леса. Потом Вера Федоровна переехала в Пермь.

Когда мы с ним познакомились в Ленинграде, жили они на улице Моисеенко. Это была очень маленькая квартира, две комнаты, одна из которых проходная. Они жили там до тех пор, пока Вера Федоровна не получила от Союза писателей квартиру на Марсовом поле /Марсово поле, 7/. В этой квартире она жила уже до своей болезни. Мы жили там первые десять лет.

Потом мы с Борисом переехали в первую нашу квартиру на улице Школьной, это у Черной речки. Переехали мы таким образом - Вера Федоровна сама хотела отделиться. Она решила, что эту квартиру она оставит разрастающемуся потомству, а они со стариком (так она называла Д.Я.Дара) уедут туда. Но, когда она посмотрела эту маленькую двухкомнатную современную квартиру, она сказала, что туда они не поедут и чтобы ехал, кто хочет. Мы туда и поехали. А потом уже была улица Петра Лаврова, д.40, кв. 15, где сейчас живет Коля**. Мы съезжались уже с моей мамой. Вот и все наши точки.

"С." - То есть Упраздненный переулочек в Коломне и Большой проспект Петроградской стороны из "Шести писем"*** - адреса...

И.В. - Да, это все не реальные. Ему просто понравилось название Упраздненный переулочек. Он прекрасно знал город, он много очень ходил.

*Борис Вахтин. Так сложилась жизнь моя ..., Л., 1990.

**Николай Борисович Вахтин - сын Ирины Владимировны и Бориса Борисовича Вахтиных.

***Борис Вахтин. Шесть писем /см."Сумерки" N6/

"С." - А в "Летчике Тютчеве"?* Не совсем центр, а где-то там в ...

И.В. - А вот "Летчик Тютчев..." - это Школьная улица. Тогда она воспринималась как окраина, и место дуэли Пушкина там рядом. И там был вот этот внутренний двор, сейчас он немного другой, Школьная, 5. Окно одной комнаты выходило на Школьную, а окна кабинета /комната была солнечная, квадратная, с балконом, Борис очень любил ее/ выходило во двор. Большущий внутренний двор. Там была и котельная, которую он описал, и стол, на котором вечно "заколачивали" домино. Он не играл с ними, не сидел, но он как-то хорошо увидел этих людей. Он всех их поселил в повесть. Мы даже не знали, кто живет на нашей лестнице.

"С." - Какой сейчас вам представляется литературная жизнь 60-70х годов ?

И.В. - Они были все такие счастливые, как первооткрыватели, потому что они находили что-то, они читали друг другу, ужасно радовались. Я иногда даже сердилась, потому что я этого тогда не понимала. Мы были воспитаны на классике. Мне казалось: "Ну зачем это? Изворачивать язык?". Иногда это было очень здорово, иногда очень нарочито. А сейчас я просто иногда удивляюсь. Мне много пришлось читать корректуры, естественно. Я не могла найти, что же меня так удивляло, потому что сейчас это кажется естественным языком. И вот, действительно, само слово, его звучание, лицо - все очень ими ценилось. Какая была особенная жизнь? У всех у них жизнь души, конечно, была в литературе.

"С." - А они не пытались себя как-то соориентировать во времени?

И.В. - Да, они пишут об этом даже в предисловии к "Горожанам".

Чтобы пробиться к заросшему сердцу современника, нужна тысяча всяких вещей и еще свежесть слова. Мы хотим действенности нашего слова, хотим слова живого, творящего мир заново после бога. Может быть, самое сильное, что нас связывает - ненависть к пресному языку. С читателем нужно быть безжалостным, ему нельзя давать передышки, нельзя позволять угадывать слова заранее - каждое должно взрываться у него перед глазами, нападать неожиданно, в секунды ослабленного сопротивления и незащищенности. Любая игра, любые обманы, разрушение привычного строя фразы, неожиданное разрастание придаточных, острейшая мысль, спрятанная где-то в причастном обороте и впивающаяся в него оттуда, как из засады, - все годится в этой борьбе для победы над все читавшим и все выдавшим на своем веку современником. Ибо поверьте - в глубине души он жаждет быть побежденным. И опять, мы не сами все это выдумали, это делали прекрасно и до нас Платонов и Бабель, Зощенко и Олеши, а до них Достоевский и Гоголь. Мы хотим лишь делать то же самое в живом современном языке и, может, даже похожи друг на друга в каких-то приемах, но так, как похожи китайцы для непривычных глаз русского.

/ "Горожане" о себе /

*Борис Вахтин. Летчик Тютчев, испытатель.

"С." - Такого ощущения, которое возникло потом, в 70-80е годы, что существует официальная литература и существует "вторая литература", тогда не было?

И.В. - Нет, у них еще была какая-то пуповина, которая связывала их с официальной литературой. Бесконечные попытки выйти с чем-то об этом говорят. Они понимали, что это ненормально, что они нужны людям, они не смирились. Борис всегда все, что он писал, носил в какие-то издательства, в какие-то редакции, каким-то людям, которые какой-то официальной властью обладали.

"С." - То есть надежда увидеть рукописи напечатанными...

И.В. - Он ее не терял до самого последнего дня.

"С." - Как он относился в 70х годах к своим ранним вещам, к трилогии? Вспоминал ли, переделывал?

И.В. - Он любил все свои вещи. Он не считал, что они беспомощные, плохо сделанные. Он их перепечатывал, он готов был их принести в любую редакцию в любой день. Он был чрезвычайно аккуратен в своих литературных технических работах, и все это лежало в папках, аккуратно подписанное, в большом количестве экземпляров. Помните его маленького героя Абакасова, который не одевался, а облачался для того, чтобы быть готовым, если жизнь потребует. Вот она и потребовала, только теперь.

Он готовился. Он не побрислся, как люди, - он приобрел стройность лица, и не оделся, как прочие, - он облачился в доспехи, чтобы встать на пост своей жизни в боевой готовности.

/ Борис Вахтин. Абакасов - удивленные глаза /

Да, он никогда не терял надежды, что они будут напечатаны. Теперь я не теряю надежды, что будет напечатано собр. соч.

По странному совпадению или по неизвестной закономерности оказывается, что мы все четверо исторически и национально конкретны. Мы можем писать только о том, что знаем, - не только внешним знанием, но и внутренним, не только видением, но и провидением. Мы бы рады писать о положении негров в Алабаме и о жаре в Южно-африканских рудниках, о партизанах брянских лесов и о великих открытиях Тура Хейердала - но мы оставляем писать это тем, кто хорошо об этом знает. Вы это знаете? Так и пишите. Мы хорошо знаем себя и то, что нас окружает. Мы хорошо знаем свою страну сейчас, здесь, в этот ее час и верим, что достоверное воссоздание того, что мы знаем, - достаточное основание для полного собрания сочинений.

/"Горожане" о себе/

В 1974 году Вахтин был привлечен свидетелем по "делу Хейфеца-Марамзина". Это было плановое мероприятие КГБ, затеянное с целью запугать интеллигентское население Ленинграда и продемонстрировать идеологическую бдительность "органов". Мы вместе тогда решили отказываться от дачи показаний. Разница была в том, что я к тому времени уже решил эмигрировать из СССР при первой возможности, в то время как Борис принял твердое решение остаться. Мужественное поведение Вахтина на следствии вызвало ярость КГБ и навсегда разрушило его научную карьеру.

/Яков Виньковецкий. Быть живым/

Тут была одна смешная история, сын мне напомнил ее. Когда Бориса вызвали на допрос по этому делу в Большой дом, он пришел в кабинет, в который ему полагалось прийти, и сказал, что на все вопросы отказывается отвечать. Ему задавали вопросы, а он говорил: "Я отказываюсь отвечать на этот вопрос". Его спрашивали: "Знаете ли вы такого-то?" А он говорил: "Я отказываюсь отвечать на этот вопрос". Было известно, что он знает их. Но он все равно говорил: "Я отказываюсь..." Тогда ему назвали совершенно незнакомую фамилию, он чуть было не сказал: "Нет, я такого не знаю". Но вовремя спохватился. А.К. - Мы с ним встречались у "Стрепущего", назначали друг другу свидания, чтобы все это обсудить, по телефону мы старались на эти темы не говорить.

Он рассказывал, что с ним происходило, как его допрашивали. Эти допросы по времени превышали все нормы. Он сидел там с утра до позднего вечера, до ночи. Их вели в разной манере: в мягкой, в жесткой. Конечно, они от него требовали, чтобы он о нем (Марамзине) все рассказал, чтобы все доложил, осудил и был свидетелем обвинения. "С." - Сколько было допросов?

А.К. - Не меньше трех. Это были очень жесткие, грубые допросы, разве что не били, это точно, что они его не били, но они угрожали, говорили, что полетишь, лишишься всех званий, жрать будет тебе нечего и, вообще, ты нас всех еще узнаешь. Он говорил: "Хорошо - полечу, хорошо - лишусь всех званий, хорошо - печататься не буду. Я сильный, я умею копать землю. Со мной вы ничего сделать не можете. Посадить вы меня не можете, и вы меня не заставите". Короче говоря, держался он великолепно.

И.В. - Ну, это же ясно. Нужно было всех держать в руках. Если кто-то, как Володя Марамзин, бежит по городу с горящими глазами, собирает Бродского и собирается собственными силами издать Бродского в 5-ти томах, то, конечно, по мнению работников КГБ, нельзя было оставить это без внимания. У него был обыск, нашли какую-то литературу, поскольку человек интересовался литературой.

В.У. - Володю Марамзина я сначала как издателя узнал, а потом как писателя.

А.К. - Он тогда как раз рассказывал мне, что собирает этот многотомник. Он рассказывал, что - Боже мой! - он обходил всех девочек, которм Ося посвящал стихи, он как бы был его биографом, он ходил

следом, расспрашивая его, ходил по всем его знакомым, выпрашивал тексты на салфеточках, на бумажках, на огрызочках. Как все поэты, Иосиф писал где попало и разбрасывал эти стихи.

"С." - Как Бродский относился к такой работе Марамзина?

А.К. - В основном не возражал, но я не думаю, что очень помогал ему. Я, со своей стороны, отдала ему все переводы Иосифа, все черновики его, о чем сейчас, в некотором роде, жалею. Одновременно он составлял библиографию Платонова, был знаком с его вдовой.

Александр Антонов - Вся компания очень давно была под прицелом, под присмотром этой организации. Все-таки такой литературный салон, клуб, кружок... Поначалу какие-то разговоры, круг ширился, такие интересные люди. Естественно, это попало в поле зрения людей, связанных с организацией, естественно, стали приглядываться, кто туда ходит, что там такое, как они там собираются. Начиная с 1968 года начали следить. Я помню, в начале 70х годов Володя представлял, как они придут, будут звонить, он им не откроет, они будут ломать дверь. Мне даже кажется, что иногда он на рожон лез. Или по-другому вести себя не мог. Он тогда был связан с журналистами из Франции. Он с ними перезванивался. Телефон прослушивался. Меня, вызывая по другому делу, спросили и о Марамзине.

"С." - О собрании сочинений Бродского?

А.А. - Это внешняя сторона. Там накопилось намного больше. И одна из неприятностей - то, что он все-таки был связан с Францией, отправлял литературу, давал читать.

А.К. - Володя Марамзин был тем человеком, который привозил в Ленинград весь самиздат, это была его добровольно взятая на себя миссия, и он выполнял ее блестяще. Из его рук я получила весь главный самиздат, который был в ту пору: Амальрика, Сахарова, Марченко, Гинзбург, все "Хроники", процессы. Он приносил все и, мало того, очень мягко, не принуждая, но как само собой разумеющееся, давал, чтобы мы перепечатывали. И я перепечатывала. Его судили, между прочим, с точки зрения властей, совершенно не напрасно.

А.А. - Вы знаете, он был каким-то в этой группе толкачом, редактором, если хотите. Самым деятельным человеком, который ратовал за то, чтобы сборник "Горожане" был напечатан. Когда собирались у него на квартире, он был не только хозяином, он был душой. Это не сколько другой аспект. На него как-то все замыкалось.

"С." - Т.е. в какой-то степени он ощущал себя не только писателем, но и редактором?

А.А. - Да, именно его кредо как руководителя-редактора, собирателя, хранителя совершенно ясно было всем. И все с удовольствием отдавали ему приоритет в этом. Надо сказать, что Марамзин в этом отношении был и очень педантичным человеком. При его разбросанности, энергии он мог потерять все что угодно, много раз терял документы - рукописи он не терял никогда. Он мог потерять деньги, мог кому-то дать и забыть. Рукопись для него все. Книгу мог подарить, мог дать чужую книгу и забыть. Рукописи всегда были в порядке. И вот это трепетное отношение к чужому тексту, который ему доверен, сказывалось не только в том, что Марамзин у себя хранил. Он всегда был пе-

дантичен в снятии копий. Если печатал, то всегда стопроцентно соблюдая авторский текст, даже если что-то, с его точки зрения, там было неправильно. Компоновка журнала – тоже его задача.

"С." – Т.е. речь шла о журнале?

А.А. – Да, но это высказывалось как предположение, и появились эти рабочие названия: "Горожане" или "Горожанин".

Насколько я помню, речь шла о том, чтобы определенная группа имела возможность опубликовать свои произведения хоть где-то. Но ориентация уже шла на то, что, скорее всего, это будет опубликовано на Западе. Чтобы избежать каких-то санкций со стороны властей, нужно было несколько раз достаточно весомо заявить о себе и пол-учить какие-то обязательные, пускай даже отрицательные, но рецензии на некий перечень произведений. И, имея уже отрицательный отзыв, эти люди могли совершенно спокойно предложить свои произведения на Запад. Таким образом у них у всех что-то вроде индульгенции было – что вот, мы вам предлагали, вы отказались, а вот появилась такая возможность. Причем ни одно из произведений, заранее отобранных, не должно было нести резко выраженную антисоветскость, в виде такого клейма, штампа.

"С." – Это было поколение людей, настроенных на официальные издания?

А.А. – С этого все начиналось. Они все пытались пробиться к тому, чтобы этот журнал выпустить. И чем больше они обжигались, чем чаще им отказывали, тем у них больше появлялось настроение: "Ну а где же печататься?" Они уже могли выпускать либо журнал, либо альманах. Поначалу какое-то неперидическое издание. А потом уже перидический сборник. Может быть, не регулярный, но с устоявшимся названием.

"С." – Т.о. в Париже В.Марамзин попытался воссоздать тот журнал, каким он должен был быть здесь?

А.А. – Возможно, только, согласно одной из версий, здесь предполагался журнал иллюстрированный.

На одном из, как мне кажется, чаепитий, сухого вина питий присутствовал великолепный художник Яков Виньковецкий. Я не помню, кому принадлежала идея, но было высказано желание, чтобы Яша проиллюстрировал I-й готовящийся к выпуску сборник "Горожан".

Этот человек был одним из участников этой группы, это я могу утверждать где угодно. Он, не входя в обозримый круг "Горожан", находясь за пределами даже перечисления имен, был одним из негласных лидеров. Если бы состоялась сама по себе акция, удалась бы напечатать I-й сборник, появился бы 2-ой и т.д., и т.д., "Горожане" бы нашли для себя устоявшуюся платформу, утвердились, были бы признаны, явно какое-то место в этом альмахе или журнале, как угодно, заняла бы рубрика, которую вел бы Виньковецкий, рубрика такого философско-рассужденческого плана...

"С." – Не только художественное оформление?

А.А. – Это все было уже вторичным бы. Это ведь был философ. Человек очень одинокий, страшно одинокий. Очень скупой на слова. Но очень широкий по мысли. Чтобы его слушать, надо было находиться в

постоянном напряжении. Это такой сгусток нервов, мыслей. Чуть отвлечешься - и уже потерял совершенно нить его рассуждений. И это качество спрессованности. У Марамзина - активная энергия, открытая, у Виньковецкого - эта же энергия, спрятанная, она прорывалась в его живописи. Там уже что-то необузданное, но по краскам, только по краскам. При довлеющей религиозной тематике совершенно гражданственная концентрация красок. Контрастные краски. Это еще и понимание сущности каждой краски как отдельной субстанции.

Жизнь краски - это жизнь литературного текста.

"С." - Он работал геологом?

А.А. - Работал. Хотя года за 2 до отъезда он уволился или его уволили. Он был в очень стесненных обстоятельствах и получал мизерную зарплату младшего научного сотрудника. Был подталкиваем со стороны, чтобы бросить работу и заняться чистой живописью на продажу.

"С." - А это было возможно?

А.А. - Его картины, конечно, по сегодняшним ценам были безумно дешевы. По тем временам, начало 70х, - 300-400 рублей - эта сумма была значительной. Его картины пользовались успехом. Они раскупались.

"С." - А много их в Союзе сейчас?

А.А. - Вы знаете, как неудачна его судьба во всем, так неудачна, по моему, и судьба его полотен. Я знаю только лишь, что у Вахтиных от Бориса перешла к сыну одна работа. Одна работа есть, по моему, у Кулакова.

Как, кстати, и печальна судьба текстов его. Суть беды в том, что Виньковецкий не печатал на машинке. Он писал от руки 1 экз. Хорошо, если появлялся такой человек, как Марамзин. Но Виньковецкий мог от руки написать, кому-то дать, забыть. Вот в чем трагедия его текстов.

"С." - С чем связана эмиграция Виньковецкого? Она связана с процессом Марамзина?

А.А. - Насколько я помню, Виньковецкого вызывали как свидетеля, на суд его не вызывали.

"С." - В эмиграции жизнь его тоже не сложилась...

А.А. - Это вообще катастрофа, он покончил с собой. У него неудачная семейная жизнь, неудачная жизнь как ученого, хотя он ученый, видимо, был большой, великолепный художник, судя по тому, что мне известно... Раз его ценили такие люди, как Вахтин и Марамзин, то он был великолепный совершенно литератор. Вот видите, сколько талантов, но все, к сожалению, пропало. И в итоге остается мифическое имя и ничего конкретно. Но то, что за этим именем многое было, это я могу сказать совершенно точно, за ним стоит что-то. Надо поискать. Если бы удалось связаться с вдовой... Надо торопиться.

Когда перестает быть живым близкий, главный для тебя человек, - с новой силой приходят мысли, которые обычно заталкиваешь под поверхность сознания. Уходит и обваливается в темноту, камнеет часть собственной жизни. С тонкой, глухой болью рвутся корешки, связывающие с прошлым. Мы еще тут, в жизни, а его уже с нами нет. Что мы здесь дела-

ем? Невидимый пронизывающий поток протягивает нас поодиночке и группами, полосками-поколениями из будущего в прошлое, через ярко освещенное пятно "настоящего", жизни.

Только здесь, в жизни, мы располагаем свободой - протекая через опущенную нам последовательность лет, дней, моментов, мы меняемся и действуем. Зависит ли что-нибудь от того, что именно мы делаем - что выбираем в жизни и делаем собой? Тысячей взаимосвязей уходят от нас в жизнь наши поступки и наш облик в каждую происшедшую с нами секунду. Каждое отдельное может исчезнуть, затихнуть где-то и раствориться; а может, хоть и незаметно, остаться навсегда моментом, вложенным нами в еще не исполненный поток бытия. Все будущее мира может зависеть от мгновенной улыбки, оброненной кем-то когда-то или любимым из нас сейчас, сию секунду. Наверное, есть в размахе истории непостижимая для нас до конца направленность и даже предопределенность; но есть и открытость - свобода, выбор и риск - в истории всего мира, как и в единичной человеческой жизни.

/Яков Виньковецкий. Быть живым/

"С." - Каких еще художников встречали вы в доме В.Марамзина?

А.А. - Несколько раз там был Олег Целков. С моей точки зрения, художник удивительный, потрясающий. Для меня это было просто откровение. Для моего поколения тогда проблемы сюрреализма еще только-только набирали обороты. Я даже думаю, что это каким-то образом сказалось на текстах этих людей. В общем-то, можно некоторые тексты рассматривать не только через призму этой эпохи, "Горожан", но и через призму художников, которые их окружали.

Бывал Кулаков, который в основном пытался выступать как портретист. Все портреты, как правило, у него четко в одной позе. Несколько смещена голова. Композиционное расположение фигуры в пределах холста всегда одинаково. Это было замечено не только мной. Сказывалась его манера и в приверженности к определенному цветовому колориту. Хорошо это или плохо? Когда было устроено что-то наподобие выставки на квартире В.Марамзина, там это все и выплыло наружу.

И.В. - Когда Борис принес портрет* домой, он меня ужаснул. Это было что-то страшное. Входя в комнату, я старалась не смотреть в ту сторону. Через некоторое время нянечка, двадцать лет жившая у нас в семье, сказала мне: "Ирочка, Боря становится похож на свой портрет". По моему настоянию Борис унес его из дому. Он подарил портрет Марамзину, а тот увез его с собой в Париж. Теперь он висит у него в офисе.

"С." - У В.Марамзина часто устраивались выставки?

А.А. - Многие работы у Марамзина были как бы "повисеть". Приходит к кому-то: "Какая вещь хорошая - купить я не могу". Он всегда был без денег. Это объясняется тем, что он очень хлебосольный человек, добряк, все, что есть, - на столе. Он по-другому жить не мог. Если на-

*Портрет Бориса Вахтина работы Михаила Кулакова



Михаил Кулаков.
ПОРТРЕТ БОРИСА ВАХТИНА
(воспр. по "Эхо" N14)

до, у него у самого денег нет, но он пойдет, у кого-то займет. Редкое качество. И объясняется жадной жить, жадной помочь. И здесь жажда - хоть посмотреть на красивое произведение. "Вот отсюда дай, хоть повисит у меня, я купить не могу, денег нет". У него была масса чужих картин, которые могли год висеть, могли два дня. Они приходили, эти картины, потом уходили. Но иногда, когда набиралось большое количество разных работ, устраивался своеобразный вернисаж.

"С." - Какое отношение к "горожанам" имел С. Довлатов?

А.А. - Он пришел самым последним. Причем, по одному из высказываний Довлатова, как только он вошел в группу "Горожане", тут-то все и развалилось. Эта фраза такая емкая, впечатляющая. Почему развалилось с его приходом, не могу сказать, но дело в том, что уже сгустились тучи над Марамзиным и его вот-вот должны были взять. У него уже, кстати, был обыск.

Это все прозаики, они все одного возраста, люди одного поколения. Может быть, Борис был более или менее устроен. За границу ездил, переводчиком был. У него было наиболее устойчивое, признанное положение. А вся остальная группа была на вольных хлебах. Что мы можем сказать о текстах Довлатова до эмиграции?..

"С." - Один из редких случаев, когда писатель приобрел себе имя в эмиграции.

А.А. - Здесь-то он был известен, он публиковался, но в принципе мы все получили оттуда. Конечно, кто-то читал, обменивался, шли разговоры, давали тексты, он сам давал, читки были... Но, по сути дела, человек был не у дел и тоже находился, насколько мне известно, в весьма стесненных материальных обстоятельствах. Что же тогда их объединяло? Я не думаю, что только эта неустроенность. Это самое все-таки последнее. Схожесть судеб в бытовом плане не означает схожести характеров. А тут что-то было общее. При всей своей разноликости они имели природный дар чутья прозаического языка. Кроме того, очень честное и трепетное отношение к слову не только к своему, но и чужому. Вахтин как-то сказал о рукописи Довлатова: "... Сережа мне дал рукопись, я ее прочитал... я там у него везде, где надо, вложил листочки с своими пометками". Это о многом говорит. Это отличало и Довлатова.

"С." - Т.е. не карандашом на полях...

А.А. - Он в рукопись вообще не влезал, это Вахтин. "Так он же мне на мои пометки вложил на листочке свои". Беспардонности совершенно не было. То, что он читает, для него уже совершенно скомпонованное произведение. Он не паршивый редактор, который знает все, а редактор - "ухо режет".

Фраза Марамзина: "Читаю-читаю, как еду по широкому шоссе, вдруг колдобина. Вот это слово, которое не на месте". Где-то на прекрасном шоссе прозы вдруг яма, которая выбивает полностью из спокойного течения мысли. Такое понимание текста было у каждого из них. Кстати, прочитать тексты Ефимова - там тоже точное попадание в слова всегда. Вот это их, очевидно, еще объединяло. Своеобразная специфика мышления уже. Не то что я посидел над текстом, порабо-

тал, пошел дурака повалывать. Если разговаривает с женой, он точно так же бережно фразу строит, и если язвит, то так, чтобы эффектно было. Потому что юмором обладали все.

Был один случай, когда Маразмин написал эссе и мучился, не мог придумать название. Маразмин написал его в течение вечера, находясь в очень неопределенном каком-то состоянии, а наутро в этом доме появился Вахтин. Володя Маразмин сказал: "Не знаю, как назвать". Вахтин, пробежав глазами коротокий, в 2 машинописных листа текст, тут же выдал: "Прочь с места катастрофы". И это было стопроцентное попадание. Маразмин сказал: "Вот что значит чутье к тексту и профессионализм, понимание того, что есть литература". Название этому произведению Вахтин придумал моментально, причем я понимаю муки Маразмина, текст очень короткий, но весьма спрессованный. И увидеть пружину, стержень этого произведения, по-своему спорного, удалось именно Вахтину. Это лишний раз доказывает, что они были очень близки, понимали друг друга с полуслова.

"С." - Расскажите об истории "Метрополя".

И.В. - Я помню, что Борису позвонил Вася Аксенов и сказал, что вот у нас возникла такая замечательная идея собрать сборник, мы будем его толкать, пробивать, давайте ваших ленинградцев. Аксенов был в Союзе, но думал ли он уже об отъезде, я не знаю. Борис организовывал ленинградскую группу, он сделал большой макет этого "Метрополя" - огромный альбом, наверное размером с ватмановский лист, и на эти листы наклеивались машинописные листы. Этот экземпляр был у нас дома, и я своими руками отдала его Петру Кожевникову, как участнику. Почему я это сделала, я не знаю до сих пор. Я это сделала сразу после смерти Бориса. У меня была просто потребность людям что-то раздать.

А.К. - Кто-то позвонил и сказал: "Хочешь почитать "Метрополь"? Володя говорит: "Хочу". Вернулся, сгибаясь под тяжестью, потому что это был огромного размера макет. И мы, положив его на диван, ползая на коленках, читали несколько суток.

Этот экземпляр был для Володи Маразмина.

В.У. - Для Бори Вахтина.

"С." - Недавно вы снова встретились с И.Ефимовым и В.Маразминым...

В.У. - Володя и Игорь - вообще рискованные ребята: другие наши знакомые, которые уехали, запаслись работой: профессорской или еще какой-то. А они приехали на Запад и начали как свободные предприниматели, на свой страх и риск.

У Игоря Ефимова - свое издательство "Эрмитаж".

А.К. - Володя вспомнил свою первую работу: техническая информация, переводы технических текстов. "Эхо" он издавал параллельно, на собственные деньги, не получая ничего, все 14 томов лежат огромными тюками в его подвале (он живет на первом этаже). Они не распроданы.

"С." - С нашей точки зрения, это один из лучших литературных журналов вообще.

В.У. - Видимо, у него был банк рукописей, он ориентировался на питерскую литературу. Особенно новой эмигрантской литературой он

не интересовался. Там же огромное количество изданий, с которыми ему незачем конкурировать. Он, видимо, свое дело сделал, посчитал свою миссию законченной.

ЭХО

Ежеквартальный литературный журнал

Основное содержание - литературный процесс в России в течение последних десятилетий. Проза, стихи, литературная критика. Публицистика. Более двух третей журнала составляют материалы различного образного литературного самиздата "оттуда", из России. Многие имена годами работающих в литературе писателей появляются в печати впервые. Публикации. Переводы. Юмор. Современная лексика.

"С." - Что, с вашей точки зрения, привело к эмиграции С.Довлатова?

В.У. - Я думаю, что немалую роль сыграло то, что все-таки разрыхлялись люди нашего круга. А потом жестче с работой стало. Он стал фигурой заметной. КГБ уже стал за ним ходить. В милицию его забирали; так в КГБ его не таскали, а вот милиция его унижала. Просто за ним бегали. Видимо, участковому дали задание, он его ловил.

"С." - Каким Вы его нашли в Америке?

В.У. - Из всего нашего круга он меньше всех изменился. Его манера жизни осталась совершенно той же самой.

Он жил не так, как все американцы: счет был арестован в банке после банкротства его газеты "Новый американец".

"С." - Газета выходила долго?

В.У. - Год с лишним и была довольно скандальной. Они взяли для американцев слишком непривычный тон. Они ее слишком литературной сделали, причем литературной на таком уровне, какой эмиграции нашей не нужен. Они конкурировать с "Новым Русским Словом" не смогли. Потому что "Новое Русское Слово" наполовину ориентировано на Брайтон Бич. Они хотели поднять этот уровень и не выдержали конкуренции.

А.К. - Издана книжка Сережиных статей в "Новом Американце". Это блестящая литература фельетона.

В.У. - Его прекрасные выступления на "Свободе". Я понимаю, почему он на "Свободе" работал, потому что "Свобода" может платить наличными. Главные заработки он получал там. Он делал это на высоком уровне. Они сами говорили по радио, что хотят собрать его выступления на "Свободе" и издать. Причем самое потрясающее в последнее время было, что он очень хорошо почувствовал то, что здесь происходит, и какие-то искал в этом утешительные моменты, и старался скорее ободрить людей, чем разочаровать.

"С." - И В.Маразмин, и И.Ефимов, и С.Довлатов после эмиграции так или иначе занимались или пытались заниматься редакторско-издательской деятельностью.

А.А. - Очевидно это стало уже их частью. Надо обязательно текст доводить до "ума", при этом очень трепетно относясь к авторскому слову.

Я никогда такого бескорыстного общения между людьми не видел, как в те годы на Гражданке, свидетелем которых мне повезло быть.

И теперь, ответив на столько вопросов, мы хотим задать свой маленький единственный вопрос: почему это все так устроено, что мы имеем полное право объединяться в народных дружинах и очередях за пивом, в обществах коллекционеров и рыболовов, в кооперативах и садоводствах, в коммунальных квартирах и общественных судах, в гулянках, танцульках, и даже гонках на мотоцикле, и не имеем права объединиться в одной книге как творческие единомышленники - почему, почему, почему?

Кто это выдумал?

Кому это нужно?

Для кого это страшно?

Молчите?

Ну, то-то же.

/"Горожане" о себе/



КАК Я ДУМАЮ

Очень прошу - сделайте ударение на к а к , мне всегда неприятно ставить знак ударения над односложным словом. От этого меня коробит. Это вульгарно и невежливо. Это значит всех, кроме себя, считать дураками. Будто они сами не сумеют прочесть правильно.

Итак, как я думаю? Так же, как и вы. Сядьте, подоприте голову и подумайте, как вы думаете (очень вас прошу - сделайте опять ударение на как). Вот и я думаю, как вы (здесь не нужно ударения на как, благодарю вас). Я думаю без плана, без системы. Из хаоса ассоциаций в мозгу вспыхивает картина, в ней множество деталей. И вот одна деталь растет, она занимает все поле зрения, она становится больше поля зрения, и тогда вы ее уже не видите, а из нее уже родилась новая галактика ассоциаций, и они рождают новые и новые пятна картин, где целое смешано в кучу с частями, намеками, воспоминаниями, осколками, окрашенными чувствами, чувствами чувств, воспоминаниями чувств, словами, фразами, кусками слов. И каждая крупница этого хаоса может разрастись, победить, захватить все поле умственного взора и родить новый хаос.

Я думаю совершенно так же, как вы. Закройте глаза. Надавите большим и указательным пальцами на глазные яблоки. Вы увидите - только нужно долго давить - интереснейшие смены и переходы цветов (синего, зеленого, красного, у меня под конец бежевого с лиловыми звездами), которые рождаются один из другого, переливаются, играют. Но надо уметь давить на глаза, с нужной силой, продолжительностью, в нужное место, только тогда получается. Это большое искусство - уметь давить на глаза. Один мой знакомый так любил это занятие, что ослеп, о чем, впрочем, ни-

Фрагменты книги. Составление: "Сумерки".

сколько не жалеет, ибо с закрытыми глазами научился видеть гораздо больше, чем видел прежде с открытыми.

То, как мы думаем (ударение, пожалуйста), ключ, по-моему, к кинематографу будущего. Может быть, и в целом к искусству (если не забывать, что цель искусства не просто передать личность творца, а передать ее искусно).

Между прочим, сказанное выше непосредственно связано с этикой. Думать по плану - убивать свободу ассоциаций, насиловать и уродовать природу. Творчество и свобода - синонимы. Человек должен расти свободно, ибо он растет для творчества. Пусть рост его идет по тем путям, по которым идет. Это будет только хорошо - человек (каждый!) от природы добр. Теперь это все знают.

Как видите, я думаю совершенно так же, как и вы.

Дальше все понятно.

* * *

Свеча - она живая, электрическая лампочка мне враждебна.

Когда горит свеча, предметы неподвижны, а их тени мечутся, движутся, сталкиваются, разбегаются.

Свеча горит очень тихо, лампочка все время вопит.

В детстве я жил в деревне, читая при елочных свечах, а когда они у нас кончились, то при лампаде. От лампы почти нет света, только небольшой кружочек, читаешь совсем близко от набухшего в масле фитилька, похожего на гусеницу. И строчки кажутся написанными крупными буквами, а повествование - очень значительным. Жаль, что мне тогда не попало стихов.

Когда уставали глаза, я лепил. Фигурки были маленькими, а тени огромными, они разбегались в углы комнаты. Появлялся хозяин, брал лампаду, ставил ее перед иконой и начинал красиво и прилично молиться. Читать становилось темно.

Прошло много лет, и вот я - взрослый, икон у меня нет. Вдоль стены книги, за окном - большой город. Но иногда я гашу свет и зажигаю свечу на окне. Между прочим...

АЛХИМИЯ

Все - кто-нибудь, все - во что-нибудь, все - исты. И я подумал: а я? Кто я? Символист? Нет. Футурист? Нет. Ист? О, что вы!

Это показалось обидно. Все кто-нибудь, а я - не кто-нибудь.

Я посмотрел в ящик письменного стола. Там был хаос. Плохие стихи (от головы!) клубились среди неплохих эссе (от головы!), неважные кино-сценарии среди важных философических опытов, рассказы элегические среди рассказов иронических. И все это тонуло в идеях. Листы бумаги, клочки бумаги, обрывки, тряпочки, культяпки были покрыты идеями, идейками, идеюшками, кусками идей - чудовищными, глупыми, умными, грязными, чистыми...

Я посмотрел в голову. И там был хаос. Там варился бред, происходили процессы вздорообразования.

И я понял: я алхимик. Я ставлю опыты в поисках особого философского камня.

А что у меня получится?

А не то, что у вас.

Ведь я - алхимик.

ОБРАЗ

Привыкли говорить - я видел сон; в тумане мне почудились черты того-то и того-то; мне померещилось видение. Я не видел сна, не было тумана, видений и прочих игрушек. Я п р и д у м а л образ, слушайте:

Город, серые стены, площадь, мощенная камнем. Кучки людей. Все смотрят вверх, смотрят по-разному. А там высоко над ними странным делом занят человек - он строит радугу из разноцветных кирпичей. Он уже дошел до середины радуги, и совершенно непонятно, отчего это сооружение не упадет.

По-разному говорят люди на площади, а высоко на краю уходящей вдалеке стрелы, нависшей над городом, человек кладет разноцветные кирпичи.

Такой был образ, и вдруг он вырвался от меня, разрушил комнату, дом, квартал, масштаб сменился, и вот уже я стою в толпе, а над нами растет уходящая вдаль кривая, обязанная рухнуть и почему-то вопреки всем законам не падающая, а на ней человек бог знает откуда берет кирпичи и выкладывает радугу, яркую, блестящую и, казалось, покрытую каплями недавнего дождя, и фоном служат бескрайние плоские тучи.

Я не выдержал и рассказал об этом.

ЗВЕЗДА, ГЛАЗА И ЛАМПА

У всего на свете есть имя. Деревом называется дерево, а не свечка, эшафотом эшафот, а не письменный стол, женщиной женщина, а не мужчина, писателем писатель, а не столяр. И наоборот.

И есть мудрость в точности имен. И если не мешать природе, то из деревца вырастет дерево, из мечтающего - писатель, из девочки - женщина и из политики - эшафот.

А если мешать, то ничего не вырастет либо произойдет смешение имен: столяр, тоскующий по перу, пень, выбросивший ветку, мужчина с женским сердцем и письменный стол, требующий четвертования.

И не будет ничего, или будет страдание.

Но приходят странные люди и в мире точных имен начинают комедии ассоциаций. И оказывается, что в точности имен нет мудрости, ибо нет непереходимого в воображении - в нем нет даже различий между запомнившимся сном и запомнившимся фактом, между мной и тобой (ибо воображение - это я, и нет его в реальном мире), так что уж говорить о деревьях и свечках, письменных столах и эшафотах, мужчинах и женщинах, писателях и столярах. Что уж говорить о звездах, глазах и лампах.

Что уж говорить обо всем этом.

Снова - на сколько лет? - наступает время письменного стола. Время одиноких. Самая могучая, самая мерзкая и преступная - интересно, будет ли когда гаже? - государственность провоняла все. Одурманенные люди - манекены с вялыми неестественными движениями, загипнотизированные обезьяны - сохранили - да и то в слабом виде! - только первейшие реакции. Их лупят, они кричат, их кормят - благодарят. Ловкая подделка кажется им выражением гения, обещание - действительностью, страх - этикой, ненависть к новому - особой мудростью. Их любимое занятие - скопом избивать непохожих, их мечта - быть обманутыми и убежденными, их общественное призвание - "проводить" и "благодарить".

Воняет все - люди, стены, земля. Узкая канализационная труба называется парадизом. Жульнически, шулерски плутуют с ценностями, шайка ловкачей, нажившихся за счет дураков, всю свою накопленную силу обратила против человека и человечности. "Выходи-и!" - кричат провокаторы человеку. И как только он выходит, накидываются на него, как бесы накинулись бы на Данте, не будь с ним Вергилия. И в это самое время актом мужества будет одинокий труд. Один на один с самим собой ты должен искать и работать. И каждому, с кем встречаешься, не жалея и не таясь, отдавать свою человечность. Не думай, что этот твой подвиг станет известен - бумага легко горит, а память легко слабеет. Не думай, что это радостно, что это истина для всех времен. Нет, это ужасно, ибо это доля побежденных, хоть и механической силой, это уродливо, ибо годно лишь в пору отчаяния и невозможности ничего другого. Тебя бросят все, и не просто бросят, а со злобой и оскорблениями, требуя от тебя свидетельств, справок, документов о праве на такую жизнь. Друг скажет тебе: "Кому ты нужен?" Любимая скажет, что ей дороже синица в руках, чем лебедь в небе, враг будет кричать тебе: "Трус, где ты?" Но ты сцени зубы, сожми кулаки и иди, иди, иди... Ну же, еще один шаг! Прямее спину, выше голову! Ты несешь на себе достоинство и величие человека, всю культуру, созданную от Пушкина до Цветаевой, от Кантемира до Бакунина, от Рублева до Врубеля твоими товарищами по несчастью быть русскими. Спокойнее взгляд, с ними ты непобедим, ибо имя этому - бессмертье.

Владимир Марамзин

ПРОЧЬ ОТ МЕСТА КАТАСТРОФЫ

Борису Вахтину

И надо же попасть на глаза ребенка такая страшная картина, уличного переезда после перелома буквально человечности. Не было слышно ни птичек, ни шороха, никого. Народ обступил, борясь с отвращением крови. Милицейские как с неба выпали, даже непонятно: если находились ответственно тут, то почему не отвратили из-под шины. Медицинские с воим пронеслись перекрестками, пользуясь обгонять, но все равно опоздали на жизнь. Страшное сейчас время, которое калечит механически души, шина, кажется, мягкая, но не удушает, рвет до кости. Моторную часть никто не осуждает, а ведущий сам вскрикнул и потерял действительность, будет долго выходить из учреждения власти на воздух. Много предлагали запретить владение, не умея массово ездить, особенно поперек друг друга, но строят новый италянти по миллиону штук с конвейера, некуда девать - такая опустилась генеральская линия. Не знаю, что тут сказать про женщину. В личной ей большее место, когда она особенно своя. Чужих пусть возят вокруг нас в автобусе: без них пусто, много воздуха, а он газовый, и без прижима, некоторые сами со страстью, но делают вид отвращенья. А в мороз особенно желаеть прислониться, как писал Есенин, к мягкому, к женскому - не к мужскому же. Один у нас поэт, и тоже зарезали. Писал личной кровью, английская какая-то кровь была, из шеи, выходила сама, как народное сознание. Случайно вступил в политическую борьбу, всемирно-историческая Айседора раздевалась при народе за одно слово поэта. Называла Ивашечкой, но разошелся и шесть детей бросил как один. Ивашечка, то есть сокращенно русская национальность - все больше сокращала как запанибрата с поэтом. Вообще иностранных мы не уважаем, кроме женского туризма. Особенно любим малые нации, даже без цвета кожи. Суоми с финлянского вокзала на выходной приезжают с пособием, возраст у себя на бирже не вышел мордой, и они не чают надежды, кроме наших побратимов. За так, конечно, никто не берется, языков ихних не знаем, а столичную можно принять в благодарность между народов за труд, но израсходовали всю для холеры, в Астрахани школьники подносили по домам для убеждения лекарства, а новая экстра холерность не восстанавливает, поэтому теперь разослали по всему государству, кроме мест опасности. На

рупь приподняли, потому что для лекарства холерникам сбавили на примерно это сумму, но в газетах не извещали: не манить нас в болезнь эпидемии. Распределили тяжесть поровну с больной головы на здоровую, финские тоже несут удовольствие за Керчь, Одессу и Астрахань этого года: то же самое им бьет теперь с копейками рублем, с небольшими. При наличности, правда, этот рупь вынимаем и сами. Для заграницы такого найдется, я достаю из широких штанин, говорил Маяковский, у советских собственная гордость по этому делу. Один был поэт, фигурально восьми пятей во лбу, выше всех писателей, посмертно восстановлен в живых за отсутствие состава. Я, говорит, разбился, быть или не быть, и я всю жизнь любил втроем одну женщину, а водку ни за что. В Москве теперь памятник, выше всех писателей, облако в штанах, а живого нигде нету, хотя цыганка нагадала 76 лет без одной седой морщины. Осталось сказать про евреев. Есть, конечно, генеральская линия, но сами виноваты. Сталина отравили по делу врачей культа личности, а он им плохого не высказал, сам грузин с диких скал осетина. Нам приходилось достаточней хуже, но мы терпели, как до отмены Бога и Святого Духа, и посмертно вздохнули невинный период, так что евреям большое русское спасибо, но только проживающим в нашей стране, хотя противные бывают рожи, но не все.

Э Х О

литературный журнал

4

ПАРИЖ

1978

ПОЯВЛЕНИЕ АВТОРА В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ

I

Я не выдержал и решил появиться в моем личном творчестве. Никто не может мне этого запретить, да, не может.

Письменность стала чистейший обман. Она пытается скрыть, что она письменность, что ее, значит, пишут. Она притворяется действием, она хочет впрыгнуть в нашу голову сама собой, через глаз, и там притаиться картинкой из памяти. Письменность прячет в карман свою буквенность и выдвигает наперед свою строчность. Строчность роднит ее с телевизором. Каждый роман спит и видит себя на экране. Кто теперь читает буквы, кто видит слова, кто наслаждается их управлением? Все глотают страницы, пожирают абзацы и уже на кончиках ресниц превращают их в кадры.

Кина не будет, мои дорогие друзья!

Придя домой, письмо было получено. Придя домой, письмо быть полученным очень старалось. Оно хотело быть получено мной от меня самого, письменное этакое письмо, в небольшом письменном виде.

Придя домой, письмо получено не было.

Несколько минут находился во власти молчания.

Вдруг неожиданно в воздухе почувствовалось смутное беспокойство. Посмотрев в зеркало, я увидел в зеркале отражение своего вопросительного лица. На лице отражался вопрос моей жизни.

- Вот здорово! - вырвалось у меня восклицание.

Запустив руку под шляпу, я зачесал свой затылок. Это была моя привычка - чесать свой затылок, когда у меня возникал вопрос и когда ответ бывал затруднителен.

А вопрос возникал такой: как надо писать, как писать дальше. Запустив руку под шляпу, которой у меня нет - то есть шляпы, а рука пока что есть, пока что мне приветливо ее не оттяпали, я зачесал, как вы знаете, верхний затылок. Это была моя привычка, и я чесал свою привычку три года без малого. В привычке редели волосы и стирались грани между умственным трудом и физическим городом и деревней. Изредка я вынимал мою руку из привычки, чтобы начертить безмятежные рецепты для младшего возраста от всея педагогики нашей страны, чтоб вложить за экран героический дух, расписаться на ордере или повестке. Потом я взялся за перо двумя руками, чтобы продолжать делать письменность Я взялся руками, но тут вышел стоп.

Тот, чьи буквы не влазят в печатный станок (а это так, что же делать, они у нас какие-то такие не такие), тот привык орудовать тем более пером. Я изучил перо насквозь, я знал его нажимы, росчерки, темные кляксы и блестящие стороны, зовущие впрямь. Я знал, когда оно будет царапать бумагу, и я миновал, чтоб царапать бумагу. Когда же оно разгонялось от гладкости - от гладкости кончались чернила в перо.

Но теперь повсеместно перо переделалось. Оно перестало быть чернильным, заостренным, оно в каждой третьей держащей руке заменилось на шарик. А шарик - известное дело - он круглый. Он не стоит, а стойкость дело нужное в деле пера. И вообще, в нем есть что-то собачье, он сучьей породы, тогда как в прежнем перо было слышно крыло.

Приходилось заново учить круглый шарик, не умея нажима, чтоб нормально писать безо всяких кино.

Я начал, и шарик покотился псу под хвост:

"От топота ног стоял шум и летела пыль..."

Какой шум? Зачем летела? Ах, я хотел что-то такое, что-то эдакое! чтобы мысль летела. Я не хотел полета пыли, так как не было топота, не было ног; не было ног - не стоял шум, шум не стоял - не летела и пыль, которая летает от действия шума, вернее, действия топота, а точнее - ноги. Все наврал проклятый шарик. Писать надо было не так.

Писать надо так, чтоб в квартире было тесно, а мыслям просторно. Писать надо так, чтобы слов было мало, а листов было много. Писать надо экономически. Один писатель советовал мне писать просто: взошло солнце, и запели птички. Он так просто и писал, хорошо писал, жаль, что несколько повредился в уме.

Я затопил печку. В печке царил атмосфера взаимности. Я оглянулся. Жизнь проходила в обстановке причинности. Я сел за стол и писал и глядел на себя, на письменного, в малое зеркальце. В зеркальце я отражался, что пишу и гляжу в зеркальце. Везде у меня отражался вопрос. Ответ не отражался нигде. Писать надо так, писал я, глядя в зеркальце, чтобы вопросам было тесно, а ответам не было мучительно больно. Чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать. Но хорошо писать бы так, чтобы не очень навсегда пострадать и вернуться.

Писать надо так - но писать надо не так.

Кто диктовал мне, письменному, кто диктовал мне из малого зеркала? Литература желает сгустить следы пребывания на земле человека. Она рвется дать путеводитель по вселенной - от Москвы до искривления мира и взад. На том ее и ловят, родимую, на том и улавливают. Она старается усилить значение каждого шага, - а шаг наш значения имеет немного: не более метра в длину по земле. Она соединяет вчерашний обед и сегодняшний грех на соседних абзацах - и меж них не пролагает расстояния духа. На том ее и ловят и тащат в свое мозговое кино, ибо это кино есть защита от духа.

С полным весельем я заявляю: кина не будет, мои дорогие советские друзья! Кина - которого я очень люблю, и друзья, - про которых я рад, чтоб читали меня повсеместно внутри рубежей; но меня повсеместно никак, не получится, ведь станок гутенбергов, как заметил поэт, для нас для всех не годится, а других не дозволено.

Кина не будет, будет слово, как всегда было слово - и это просто даже несколько странно, что забывают. Сперва было слово, а после его написали - ведь так? Писать надо просто, вынимая слова из алфавита, которые все уже есть до единого.

Писать надо так, чтобы сразу написал и, тепленькое, едва успев запяты, сдал в историю. Писать всего полезнее вообще на скрижалях. Скрижали выдаются в литфонде, по два кило в месяц на душу писателей. Души, конечно, сверху не видать и даже алгеброй - если разъять - не поверить. Но у каждой души из души растет нос, как известно у Гоголя. Так что чаще принимают, для удобства статистики: мол, по два кило на нос, за умеренный рубль. В общей продаже скрижали отсутствуют: либо слишком толстые, а то просто дрянь, папиросные и вообще неформат. На таких в историю не войдешь.

Правда, писать на скрижалях не просто. У них, проклятых, качество - видимо, финские: что написано пером, того не вырубишь топором. Но все равно, поворачивать поздно, вхожу в историю. Цветы, кругом цветы - тридцать пять тыщ одних цветов.

Цветы - это дети нашей жизни, они приходят к нам пахнуть.

На одном конце города есть Гулярная улица. По ней гулял Николай Васильевич в своей критической шинели, из которой все вышли, но в которую входил, озираясь, как в дом. На другом конце, напротив, есть Трамвайный проспект. На нем никто не гулял, по нем никто и трамваем не ездил - там трамвая не сделано. Но везде, куда ни кинешь взглядом, на нем видны следы прогрессивного человечества. "Идя в наш кинотеатр с цветами, вы можете оставить их у администратора, который поставит букет в вазу с водой и вручит его вам после сеанса ничуть не увядшим". Какая огромная, какая наша, какая забота о человеке! - Правда, самого прогрессивного не видать, одни следы. Они ведут в будущее. Будущее начинается сегодня. Завтра оно уже будет, оно грядет к завтраку. Все человечество обожает кушать завтрак. От хлеба пахнет сытностью, от масла оптимизмом. Это аромат грядущего. Тоска от лука, съеденного на ночь, после завтрака переваривается, не доходя до автобуса. В автобусе все везут завтрак на рабочее место, даже два - так повелось среди класса трудящихся: один, поменьше, в животе, безмянно, а другой, большой, под мышкой, на виду, напоказ.

Особенно вез завтрак один пассажир. Он весь обчитал его за время дороги. Следы времени с обертки перешли на лицо. Рот у него был закован в железные зубы, а лицо было особое лицо государственной важности. Чтобы завести себе такое лицо на лице, надо многие лета занимать себя чем-то вверху, у кормила - чем они там занимаются? Но как потом снова дойти, чтобы ездить автобусом, вот что неясно. После бритья он освежал себя какой-то туалетной водой парфюмерной торговли, от которой несло сыростью, мокрицами, глубоким духом влажного мороженого мяса. Хватит терпеть насмешек и пренебрежения, - говорил этот запах с оттенком угрозы. Хватит терпеть, пора назад к кормилу.

В природе была погода.

Висел плакат: "Хороший человек украшает природу". Я оглянулся. Украшая, он шагал. Он шагал через улицу, не считаясь с опасностью, не страшась усталости. Все остальные страшались усталости, кроме него, хорошего человека.

Уставя пальцем в живот, жена удерживала пьяного на тротуаре от падения. Обмякнув, он качался на этом жестком, ненавистном, указующем пальце, как привязанный, напрягаясь, чтобы оторваться и грудью

упасть на мягкую, привычную землю, чтоб украсить собою природу - и не мог.

У памятника, приданного площади в награду за историю, как раз сегодня был день рождения. К нему пришли поговорить о своих делах пионеры. Памятник слушал их медным лицом, напряженно, и все указывал вперед, все вперед, на газетные стенды.

В газете были две печатные статьи, обращенные руководством к самому себе с укоризной: "Работать на виду у масс" и "Быть человеком". На виду у масс человеком работал лишь памятник. Это было его загробное поручение.

Бежала женщина, у которой свои законы. Подберет на себя все красиво, все в тон: сумочку, туфли, перчатки, чулочки, - а сама торчит из них, другая-другая. Она торчит, дожидается, пока ее вынут, как семечко. Вынуть трудно, но можно, надо только уметь. Я притворился, что влюблен, вы притворились, что стыдливы, как сказал поэт. В общем, можно.

Памятник грустно загребал рукой к женщине, словно собирался доплыть к ней по воздуху, но потом передумал. Он хотел равную, медную бабу со стажем. Хотел отгрохать с ней набат на всю ноченьку. Памятник помнил: ему обещали. Ложись на горы алтайские, берись за колокола китайские - или как там записано в решениях съезда?

Вышло вечером слабое солнце, и жить стало лучше, жить стало светлее.

На руке у постового показалась наколка. Она звала к диалектике. По ней было видно, что он из преступных переквалифицировался в квартальные. И это есть отрицание отрицания, это смерть зерна и жизнь зерна сразу. В общем, хлебное дело. Надо рассказать об этом зерну.

Военнослужащие и дети их семейств гуляли по бульвару, заходили в зоопарк. Звери развлекались от своей трудной жизни, наблюдая старших, сознательных братьев и дрессируя их назад в духе прошлого. Звери знали: идет взаимная жизнь, скоро ужин. Люди смотрели свысока: они открыли дверь в будущее. Они молчали, что открыли ее ногой.

У входа в зоопарк лежат опилки с дезинфекцией для нашей ноги, чтобы демократия с зоологией не могли перепутаться. Входя, оставляли болезнь на опилках. Отряхали звериные инстинкты, возвращаясь обратно. Отирали след свершений с гражданской походки, направленной в сердце животного мира.

Зоопарк готовится к юбилею. Состоится большое народное гулянье на тему: сто лет в клетке. Подумать только, какой срок! Ни бык, ни лев и ни орел - да что там говорить! - даже революция не принесла им избавленья. Они должны свершить ее сами, свою, звериную революцию - но не желают.

Лучше жить стоя, чем умереть на коленях. Сидя жить лучше, а еще лучше лечь. И это будет пассивное сопротивление. В дружном порыве лежал зоопарк. Он глядел на меня - и не видел меня: я был в письменном виде. В письменном, роскошном по сравнению с жизнью, без пота, без пуза, без дыха, без храпа, без того натяжения в причинных местах, что мешает видеть дальше, чем собственный так называемый нос. Я был в белой рубашке, хрустящей, как рубль - трудовой сберегательный рубль из сберкасс, вложенный мятым, возвращенный обновленным, что и составляет государственный процент благодарности. Но меня в этом письменном виде заметить нельзя: отражаю сознание. Я же, сам, могу выглядывать что захожу - на уровне письменности, знаете ли, многое виднее.

4

Вот, например, прорвалось: ни бык, ни лев и не орел - и это совершенно не напрасно прорвалось.

Это пишется полной заменой по животному Брему известного пения, когда все встают. Ибо, во-первых, бык прекрасно замещает тут, кого замещает. То есть не то чтобы бык это Бог, несмотря на фамильность, в одной только букве, а вторая разнится случайно на письме. Это лишь в могучем и великом языке, но в британцах, возьмите, - то созвучность намного другая: "Год" - "дог", то есть с кобелем, прости меня, Всеблагий; впрочем, зверь тоже ярый, когда он восхочет (или как там пишут по Донам - если вскочет? если не захочет, то не вскочит? - надо бы спросить того, в станице, где он требует полезно не пускать других к перьям, чтобы не могли разобрать в сучьих тонкостях вместо него). Но если вспять повернуть, в гордый Рим, то и снова появляется животное бык, на пяти своих ногах в латинской фразе, где ему дозволено менее бога, - то есть для божественной пятой ноги все открыто, не то что для бычачьей. Конечно, бог это был не настоящий, нестоящий; млекопитающий, можно сказать, это был всего бог. Но и в данном, освободительном случае мира, довольно, право, тако-

го, малого, вождя по жмыху и жвачке, приравненного к бычьему классу трудящихся - на одной трудились ниве, молочные братья.

А лев - он царь, он безусловный равноценный перенос туда отсюда, по всем легендам и басням обоих народов: нашего, демократического, и, значит, их, ветеринарного, или как его там. Ибо не только у людей говорят про льва царь, но и соответственно в баснях звериных крылопов, ежели хотят сказать: верховный подлый лев - но боятся, то и намекают через нас, что, мол, всея самодержец или секретарь эпидемии всего человечества. Басни ходят сквозь опилки, не страшась дезинфекций.

Последнее же ясно и в ясности просто. Орел - то есть в нашем вставании герой. Они летают в хищном небе государственным летом и садятся на свои плодородные яйца исключительно в горных районах страны.

5

Вы просите песен? Их есть у меня - как сообщала в романсе семиструнная бабушка. Не пора ли засесть за письменный стол? Роман о более бережливом отношении к видам дубов. Основные мотивы романа: лес, подлесок, чапыга, болото. В лесах развелась живописность: воронко, кречет, кочет.

К письменному столу надо в очередь, как в бакалею: "Я отойду на полминуты, а вы скажите, чтоб меня не возражали".

Писать надо так, чтобы писать.

Писать надо письменно - и немного печатно.

Книга начинается, здравствуйте: фальц; книга продолжается, пожалуйста - шмуц. Я абсолютный противник сторонников.

Нет, я не прошу свободу слова - мне, напротив, не надо, кроме того, у меня уже, кажется, есть. Но я бы хотел, вместо этого, хотя свободу буквы. Это сугубо специальный вопрос, не все знают: на письме нужна буква. Букв становится все меньше. Не говорю про опасную ижицу или фиту, нет, таких надо было убрать, они мешали лучшей жизни, но вот, обратите внимание: Ё. Очень перспективная буква, много лучше доносит. Открой любую книгу - её уже нет, то есть она в скрытом виде, в подтексте. Конечно, там ей гораздо свободней чувствовать, и даже большой артистизм догадаться. Но я просил бы для себя эту скромную букву - даже согласен, чтоб вместо аванса. За что лишили нас её? Конечно, это экономически, все надо

экономически. Я понимаю, гутенберг должен возвращаться с максимальной точки зрения - но машинка? В моей машинке я напрасно ишу десять лет букву Ё. Не хватает, чтоб её не оказалось и в ручке, а это просто, возьмут и вынут на заводе, им что. Могут даже вынуть из мясной твоей руки при рождении в жизнь, и тогда уже обратно не вставишь никакой эволюцией.

А всего-то незаметно приставить две точки - и она возвращается. Точки, поставленные над ё - сколько смысла! При помощи точки мы вернем свободу буквы, а возможно, и слова, которая, правда, у нас уже есть. Например, многоточие - что за возможность! Заменяет какие угодно слова.

В этом отношении шарик полезен: он умеет ставить точку.

Шарик, шарик! Ко мне!

Слушается.

"В природе была погода". Ничего лучше этого я не писал. Какая простота! Какая сочность! Это ещё ждет своих исследователей. И главное, заметьте: написано шариком.

6

Точка. Много точек. Нет, не торопись стяжать дары печатности. Живоворящий гений, знаете, ничем не удержать.

1970-75





Михаил Талалай К БЕЛОМУ ОЗЕРУ

...Расстояние, отделявшее московский трон от Сергиева монастыря (около 70 верст), очевидно, оказалось недостаточным для сохранения гармоничного равновесия, и духовным преемником Сергия становится не Никон, сменивший его на посту игумена, а его ученик Кирилл, бережно унесший заветы св.Сергия на Север, к Белому озеру.

Этот путь был предопределен самим Сергием, давшим России духовный щит, которым она заслонила свой Север, в то время как ее Запад был заперт Литвой, а Восток - татарами.

Северную дорогу от Москвы проложили прямые наследники Сергия - его братья во главе со св.Никоном, спасавшаяся от татарского хана Едигея, который в 1408 г., через 16 лет после смерти радонежского святого, нанес жестокий удар по Москве. Когда хан ушел, монахи вернулись на юг - но, быть может, в душах некоторых запечатлелся тихий и сосредоточенный пейзаж. К тому же книги и иконы, которых касалась рука Сергия, впервые побывали в этих краях.

В XIV веке Белое озеро уже было колонизовано русскими, в основном - деятельными выходцами из Новгорода, которые принесли язычникам-аборигенам "прелести" цивилизации и торговли, но, похоже, мало заботились о проповеди Евангелия.

Предание сохранило память о предшественнике Кирилла - киевлянине Герасиме, в XII веке первым показавшем здесь пример христианской аскезы. Божий глас повел его на Север, в Вологду, где он срубил хижину и церковь, посвятив ее Святой Троице, - это же посвящение носила надвратная церковь Киево-Печерского монастыря. Аборигены, "чудь белоглазая", и новгородцы неприязненно встретили монаха - новый образ

Из книги "Паломничество на Север" (русские святые и подвижники)



25 сентября (8 октября) -
Преставление прп.Сергия,
игум.Радонежского, всея
Росии чудотворца (1392).

17(30)ноября -
прп.Никона, игумена Радонежского,
ученика прп.Сергия (1426)

христианина-аскета был им непонятен. Хотя св.Герасим связал в религиозном сознании Киев, колыбель русского православия, и русский Север, - учеников и вообще заметного следа он не оставил. В XII веке жатвы было еще слишком много, а "делателей - слишком мало".

Жатва поспела к XIV веку, а "делатели" пришли вслед за св.Кириллом.

Есть некая сокровенная значимость в том, что жизнь Кирилла (он прожил 90 лет) разделена на три законченных периода, каждый из которых длился 30 лет.

Первые 30 лет Кирилл был Кузьмой. Совсем юным он потерял родителей и был взят к своим родственникам "в услужение". Быть может, это зависимое, сиротское состояние определило склонность Кирилла к недовольству миром: он тайно молился о монашестве. Эти молитвы были услышаны: св.Стефан, игумен монастыря в Махре (и близкий друг Сергия), разглядев религиозный дар молодого человека, постриг Кузьму в монахи прямо в его комнате. Возвествуя о том, что вместо Кузьмы теперь есть монах Кирилл, Стефан вызвал сильный гнев родственников, которым дармовый работник, очевидно, был просто выгоден.

Но было поздно. Кирилл сбрасывает с себя бремя "ветхого человека" и уходит в московский Симонов монастырь, где настоятелем был св.Феодор, племянник Сергия, и где все было проникнуто "радонежским" духом. Свою радость (и свой дар) Кирилл пытается скрыть, причем весьма своеобразным образом - прикидываясь дураком, юродствуя. Феодор, возмущенный этими дурачествами, сажает Кирилла на хлеб и воду - Кирилл рад еще более: теперь он постится не по своей воле. Впоследствии игумен разгадал эту уловку и определил Кирилла на тяжелую работу в пекарню, но тот рад любым испытаниям и приговаривает: "Терпи этот огонь, Кирилл, - тогда избежишь огня вечного".

Самыми важными для его духовного становления были встречи с самим Сергием, который, навещая монастырь племянника, на удивление всей братии часами уединяется с Кириллом в его пекарне. Кирилл даже внешне начинает подражать учителю: зимой и летом он носит одну и ту же "худую" одежду.

Его авторитет растет: после отъезда Феодора в Ростов именно он выбран братией новым

4(17) марта -
прп.Герасима Вологодского (1178)

9(22) июня -
прп.Кирилла,
игум.Белозерского (1427)



14(27) июля -
прп.Стефана Махрищского (1406)

28 ноября (11 декабря) -
св.Феодора, архиеп.Ростовского (1394)

настоятелем. Пережив смерть Сергия, Кирилл, которому близится шестьдесят лет, решает, не смотря на возраст, навсегда оставить родной монастырь.

Перед уходом, во время чтения Акафиста Божьей Матери, Кириллу явилась Богородица, указавшая ему на Белое озеро: "Там ты спашешься". Когда Кирилл выглянул из окна кельи, то увидел столп света, стоявший далеко на Севере. От радости Кирилл проплакал всю ночь и рано утром ушел из Москвы. С ним был спутник - его друг Ферапонт, который уже бывал у Белого озера. С собой монахи взяли лишь книги и икону Богородицы. О видении Богородицы Кирилл Ферапонту не сказал.

Этот уход был из тех, когда можно сказать: "иду от вас и приду к вам" - через года слава Кирилла придет обратно в Москву.

А пока перед Кириллом и Ферапонтом - 700 верст пути через густые и дикие леса до горы Мауры. С нее монахам открывается спокойный и строгий пейзаж: невысокие холмы, озера. Кирилл встает на камень (он до сих пор лежит на Мауре, и если пристально взглядеться, то можно увидеть след ноги) и восклицает: "Вот мой мир!".

Монахи спускаются с горы, водружают крест (он стоит до сих пор, "похудевший" от поцелуев паломников), сооружают себе пещеру, но вскоре Кирилл остается совсем один, как некогда Сергей. Ферапонту выбранное место кажется "узким и тесным", и он в 16 верстах от Кирилла устраивает собственную пустынь.

Но Кириллу не приходится долго жить одному - вскоре его разыскивают два других монаха Симонова монастыря. Местные жители с удивлением обнаруживают отшельников: оказывается, еще до появления монахов они слышали в этих местах колокольный звон. Первую монастырскую церковь Кирилл, конечно, посвящает Богородице (Успенику).

Так в 1397 году возникает Кирилло-Белозерский монастырь, со временем ставший вторым по величине русским монастырем (после Троице-Сергиевой лавры).

Кирилл вводит устав, похожий на Сергиев, но, быть может, строже. Во время церковной службы никто не имеет права беседовать - только молиться. После трапезы монахи должны молча расходиться по кельям. Имущества иметь не полагается (дозволяются лишь книги и иконы) - в келье нельзя держать даже воду, если мучит жажда - сходи в общую трапезную.

К онд а́к х з́.

Къ зѣрннѡй боеводѣ повѣдѣтельнаа, ꙗкѡ
нзвѣльшеса Ѡ салѣхъ, бл҃годарствевнаа воспнѣ-
ема тѣ рабѣ твоѣ, вѣе: но ꙗкѡ нѣмѡша дер-
жавѣ неповѣданнѣи, Ѡ всѣмнѣхъ насъ вѣдѣзъ сво-
бодѣ, да зовѣмъ тѣ: рѣдѡйсѣ невѣсто не-
вѣстнаа.

К онд а́к х ѣ́.

Странное рѣткѡ видѣвше, оустраннѣса мѣра,
оѹма на нѣса преложше: сегѡ во радѣ высокѣи еѣхъ
на земанъ нѣвѣса смиреннѣи члѣвѣкъ, хотѣмъ
привлечѣи къ высотѣ, томѣ копѣцима: ꙗламаѣа.

К онд а́к х ї́.

Стѣна бѣи дѣвама, вѣе дѣо, нъ вѣсѣма къ
тебѣ прибѣгнѣцима: нѣо нѣсе нъ земанъ творѣцъ
оустрѡнъ тѣа прѣчѣтаа, всѣаьса во оустрѡвѣ твоѣи,
нъ всѣа пригашѣти тебѣ научнѣе: рѣдѡйсѣ, стѡпае
дѣства: рѣдѡйсѣ, двѣрь спѣсѣнаа. рѣдѡйсѣ, началнѣице
мысленнагѡ назданѣа: рѣдѡйсѣ, подѣтельнѣице вѣѣ-
ственнаа бл҃гости. рѣдѡйсѣ, тѣи во шѣновѣла бѣи
зачѣтыа стѣданѡ: рѣдѡйсѣ, тѣи во наказанѣа бѣи
шкѣрдѣннаа оѹмомъ. рѣдѡйсѣ, тѣи телѣа смѣслаше
оѹпражданѣицаа: рѣдѡйсѣ, стѣтелѣа чѣстотѣи рѡжда-
нѣа: рѣдѡйсѣ, вѣрнѣице гдѣенъ сочѣташѣаа. рѣдѡйсѣ,
дѡбраа младопнѣтельнѣице дѣвама: рѣдѡйсѣ невѣ-
сто красѣтельнѣице дѡше стѣхѣ. Рѣдѡйсѣ невѣсто
невѣстнаа.

(Мед и вино запрещены.) Как и у Сергия, все душевные движения надо открывать настоятелю, и даже письма и подарки можно получать только через руки Кирилла. Несмотря на эту внешнюю строгость, в обители преобладал дух радостной любви.

Кирилл первым показывал пример кротости и смирения. Так один из крестьян, недовольный появлением монахов, пытается сжечь их постройки. Кирилл, застигнув его, не наказывает, а с любовью прощает - крестьянин, потрясенный подобным отношением, впоследствии сам становится монахом. Другой эпизод связан с учеником, который ненавидел Кирилла. Проницательный игумен заметил недобрые чувства и обратился к монаху с такими словами: "Не скорби, брат мой, все ошибаются во мне, лишь ты один знаешь правду о моем недостойстве, ты прав - я непотребный грешник", чем тронул монаха до "слез любви". Кирилл сам обладает даром радостных слез: он плачет во время литургии, плачет, "вкушая пищу". Чудеса, совершенные Кириллом, имеют явно евангельский характер: умножение хлебов, спасение рыбаков, хождение по воде "аки по суху". Евангельская простота сочетается в нем с книжной ученостью: перу Кирилла принадлежат не только богословские статьи, но и статьи о "земном устройении и облаках", один из первых в России медицинских трактатов (о кровопускании), размышления о стрижке волос в соответствии с лунным календарем. Самое распространенное послушание в его обители - переписка книг: монастырская библиотека быстро становится одной из самых богатых в России (особенными трудами в этой области прославился Игнатий Молчальник, пришедший к Кириллу из Сергиева монастыря). Одна из самых ценных в монастыре книг - "Лествица", написанная игуменом Синайского монастыря св.Иоанном Лествичником, в которой 30 лет жизни Христа уподоблялись 30 ступеням восхождения к совершенству и где раскрывались добродетели, явно дорогие Кириллу: "послушание, радостнотворный плач, безгневие, кротость, безмолвие, нестяжание".

Глубоко символичен грандиозный ансамбль Кириллова монастыря, походящий на каменный иконостас, где линия север-юг представляет духовное восхождение, начиная с надвратной церкви св.Иоанна Лествичника, че-



рез собор Успения Богородицы - к церкви Преображения Христова. Линия восток-запад, также проходящая через Успенский собор, посвящена святым, ходатайствующим перед Богородицей о помиловании рода человеческого - деиус: св. князь Владимир Креститель, св. Кирилл Белозерский, св. Евфимий Великий (покровитель больных), св. Епифаний Кипрский (поборник чистоты православия).

Но это великолепие и богатство появляются не сразу. Кирилл проводит демонстративную "нестыжательную" линию, отказываясь от подарков, в том числе от деревень и сел, сопровождая отказы словами о несовместимости владения селами со свободой от мирских забот. (После смерти Кирилла монахи эти села берут.)

Но, как и в случае с Сергием, эта линия повышает авторитет Кирилла, и, находясь в 700 верстах от Москвы, он способен оказывать на нее политическое влияние (об этом влиянии традиционно умалчивают его жития). Он переписывается со всеми тремя сыновьями великого князя Дмитрия Донского, наставляет их, советует. Князя Василия он призывает примириться с Суздальским княжеством. Особое внимание он уделяет своему духовному сыну князю Андрею, для которого составляет целые социальные программы. В своем последнем письме к Андрею он пишет о том, что стал стар, впадает в различные болезни, но "это есть чело-веклобие Бога к нему", так как он понял, что ничто другое "не возвещается, кроме смерти и страшного суда Спасова в будущем веке".

Так закончились 30 лет у Белого озера. За несколько дней перед смертью Кирилл так ослаб, что его на руках несут в церковь. В последние дни он замолчал, предварительно попрощавшись с учениками.

С веками Кириллов монастырь повторил историю Сергиева (может быть, монастыри были так "запрограммированы" в принципе?). Он приобрел множество деревень, сел, земель, право беспощинной торговли от Черного до Белого моря и к вершине своего могущества имел 20 тысяч крестьян. Это возвышение приводит к символичному и прискорбному факту: однажды Кириллов и Сергиев монастыри вступают в судебную тяжбу из-за спорных земель.

Монастырь быстро вовлекается в политическую жизнь России. Иван Грозный считает,



Конда́къ ѿ.

Ⲡ всепѣтаа мѣи, рождаша всеѣхъ стѣхъ стѣише слово, нынѣшнее прѣиши приношеиѣ, Ѡ всекиа извѣки напѣсти всеѣхъ, ѿ вѣдѣиша изъми мѣи, тебеѣ вопѣицихъ: Алалиаѣ.



15(28) июля - равноап. вел. кн. Владимира, во святом крещении Василия (1015)

20 января (2 февраля) - прп. Евфимия Великого (437)

12(25) мая - свт. Епифания, еп Кипрского (403)

что обязан своим появлением на свет св.Кириллу - его родители ездили сюда молить о сыне, а по рождении Ивана выстроили здесь две церкви: в честь его небесного покровителя Иоанна Предтечи и в честь Константина и Елены Равноапостольных. Грозный выражает свое "внимание" к монастырю и тем, что ссылает сюда опальных бояр. Он сам заканчивает свой жизненный путь монахом Кириллова монастыря, по старой традиции приняв перед смертью монашеский постриг и попросив прощения у "братьев".

Как и Сергиев монастырь, эта обитель сыграла в начале XVII века важную оборонительную роль, отбивая атаки западных соседей. Именно шведская угроза заставила предпринять здесь в середине XVII века грандиозное крепостное строительство, продолжавшееся 30 лет, но так и не пригодившееся. Как и на Троице-Сергиеву лавру, на монастырь обрушился революционный удар, в 1930-х его хотели разобрать на строительный материал. Теперь в опустевшем монастыре музей, но в потоке туристов-отпускников встречаются и паломники, привлеченные славой Кирилла. Они тайком приходят к гробнице святого, где часто стоят цветы, которые удивительно долго не вянут. А некоторым удается увидеть свет из закрытого храма. И звучат слова: "Соблюди своими молитвами, как чадолюбивый отец, не забудь и всех приходящих к честному гробу твоему и чтущих многорадостную твою память".

Ну а что же Ферапонт и его обитель? Со временем она прославлена, как и Кириллова, но - по-другому. Говорят, что разительное несходство двух монастырей есть результат несходства характеров их основателей. Внутренне радостный, но внешне строгий Кирилл соответствует суровому облику его обители, а более чувствительный к красоте мира Ферапонт вызвал к жизни возвышенный, легкий архитектурный силуэт. На горе Мауре они стояли вместе, но каждый увидел разные перспективы. И св.Ферапонт нашел самый светлый и праздничный пейзаж: небольшие озера заключены мягкими объятиями пологих холмов.

Его место, "пространное и гладкое", отстоит на 16 верст от Кириллова - полдня спокойной, неторопливой дороги, с тем чтобы потом отдохнуть и помолиться. Здесь Ферапонт ставит церковь и посвящает ее Богородице, но не

27 мая (9 июня) -
прп.Ферапонта Белозерского,
Можайского (1426)

Успению, а Рождеству Ее!

Ферапонт - выходец из аристократического рода - еще юношей тайно бежит из родного дома в тот же Симонов монастырь, где его, как и Кирилла, выделяет Сергей Радонежский. Земной путь двух монахов, ушедших к Белому озеру, закончился почти одновременно: Ферапонт умер в 1426 году, Кирилл - в 1427.

Закончился он, правда, в разных местах: Кирилл так и не оставил избранного им (и Богоматерью) Белозерья, а Ферапонт вернулся под Москву, в Можайск, уступив просьбам князя Андрея, - там Ферапонт основал еще один монастырь и тоже посвятил его главный храм Богородице. У Белого озера Ферапонт провел десять лет, положив в основание монашеской жизни главный принцип - трудолюбие. По уставу, взятому у Кирилла, монахи не имели личной собственности, а "для пропитания" рубили лес или занимались рукоделием. Своим расцветом монастырь обязан преемнику Ферапонта, св.Мартиниану. Его совсем юным родители, местные крестьяне, приводят к Кириллу. После смерти учителя Мартиниан уходит безмолвствовать в лес, но ферапонтовские монахи, знавшие и любившие Мартиниана, упрощают его возглавить монастырь. Мартиниан умело ведет монастырское хозяйство, он принимает села, от которых прежде отказывался Ферапонт. Вскоре бывший крестьянин становится духовником великого князя Василия Второго. Мартиниан даже помогает князю в его борьбе за московский престол: снимает с него "крестное целование", клятву в отказе от притязаний на власть. Вместе с тем он сохраняет независимость от Москвы и позволяет себе иногда резко критиковать князя: когда, например, Василий Второй обманом захватил боярина-изменника, Мартиниан заставил его отпустить пленного. Мартиниан под старость решает умереть у гробницы Сергея Радонежского, но он слишком привязан к родному Северу и возвращается в Ферапонтов монастырь.

Со временем этот монастырь прославится восхитительными фресками Дионисия. Звонкие, светлые, легкие и глубокие краски, прославляющие Богородицу, не случайно появились именно здесь, а не в соседнем Кирилловом монастыре.

Окрестности Белого озера с легкой руки паломника прошлого века А.Н.Муравьева стали звать "русской Фиваидой" - здесь было так много примеров высокой святости, что места эти ста-

12(25) января -
прп.Мартиниана Белозерского (1483)

ли сопоставимы с египетскими пустынями, прославленными подвигами первых христиан-монахов (русские пустыни были в лесах).

Эти края можно назвать и русской Палестиной (у Муравьева встречается и такое сравнение). Кажется, что сам воздух, сама природа здесь наполнена гармонией, светом, радостью, любовью, смирением, кротостью, тишиной. А быть может, 700 верст от столицы дают равновесие духа и "мира".

Много имен в православную летопись вписано именно в этих местах.

Св. Дмитрий Прилуцкий был "собеседником", единомышленником Сергия, и "сергианская" линия явственно проступает в его жизни. О Дмитрии известно, что он был очень красив - его сравнивали с Иосифом Прекрасным. Святой опасался, что его физическая красота принесет окружающим вред или смущение, и старался закрывать лицо монашеским куколем. Одна женщина, прослышав о его красоте, тайком подглядывает за Дмитрием, но - наказана за это болезнью. Дмитрий прощает "нечистоту ее помыслов", осеняет знамением: женщина выздоравливает.

Дмитрий начал свой духовный путь близ Москвы, в Переяславле. Став игуменом монастыря, он скорбит, что слишком близок к "сильным земли", и уходит на Север, в лес, но встречен враждебно местными крестьянами (отношения крестьян и монахов часто драматичны). Дмитрий безропотно уходит в город Вологду, где горожане дают ему участок земли "при луке", на изгибе реки (отсюда - Прилуцкий). Дмитрий бескорыстен: от пожертвований он отказывается, говоря, что "сперва надо напитать вдов и сирот, а потом уж - монахов". Его братия недовольна таким поведением, и Дмитрию приходится увещевать: "Главное для монаха - довольствоваться тем, что есть, и хвалить Бога от чистого сердца". Дмитрий бережет свои благодатные дары: в монастырском храме он сколачивает нечто вроде ящика, где укрывается во время молитвы. Так же скрытно, чтобы не "смущать" братию, он иногда раздает милостыню из бедной монастырской казны. Но, как и Сергий, Дмитрий не уклоняется от политической жизни и всемерно поддерживает своего тезку, князя Дмитрия Донского. Он умирает в один год с Сергием, а Прилуцкий монастырь вскоре становится на традиционный путь, выполняя военные, торговые, политические функции - часто в ущерб молитве. Город Вологда

11 (24) февраля -
прп.Дмитрия Прилуцкого,
Вологодского (1392)



Кондакъ II.

Пѣніе всѣмъ повѣждаетъ, прострѣтисѣ тѣшѣ
щесѣ ко множествѣ многѣхъ щедротѣ твоихъ:
равночлвнныи ко пескѣ пѣсни душе приносимъ
тѣ црѣ стѣнѣ, ничтоже совершаемъ достойно,
ѣже дѣла ѡбѣ намъ, твоѣхъ вопіющымъ: Аллелѣи.

признает Дмитрия своим покровителем, патроном. "Посмертный" образ Дмитрия, при жизни обычно склонного к прощению, увещанию, приобретает суровость: так один грабитель, покусившийся на гробницу святого, наказан смертью. Прилуцкий монастырь был лагерной территорией, музеем, теперь церковь пытается оживить его каменную оболочку.

И это - не самая худшая участь: другой знаменитый на Вологодчине монастырь, Спасо-Каменный, просто разобран "на кирпичи". А между тем это был самый древний монастырь в здешних местах, основанный в XIII веке князем Глебом, застигнутым бурей на Кубенском озере и спасенным волею Провидения на Каменном острове. Это место действительно необыкновенно: иноку Спасо-Каменного монастыря, св.Иоасафу, явился здесь сам Христос. Редко кто из русских святых удостоивался подобного видения - бывали случаи обратного рода: монаху Киево-Печерской лавры св.Исаакию Молчальнику привиделся Христос, но потом выяснилось, что Исаакия соблазняли бесы.

Иоасаф Каменский - фигура мистическая и загадочная, он умер почти мальчиком, в 17 лет. В миру Иоасаф - князь Андрей, внук великого князя Василия Второго. Мальчик, обладавший хрупким здоровьем, рано удалился от мира, отверг княжескую родню, отказался и от денег, предложив раздать их нищим. Когда Иоасафу явился Христос, он спросил: "Что мне делать?". Христос ответил: "Хранить любовь". На другой вопрос: "Как избежать сетей вражьи?" - был дан ответ: "Надо быть кротким и смиренным сердцем". Почти сразу после видения Иоасаф умирает, но успевает сказать своим братьям, что "Христос велел хранить любовь".

Из Спасо-Каменного монастыря выходит знаменитый на Севере св.Дионисий Глушицкий (по реке Глушица, где он основывает один из своих монастырей). Дионисий близко знаком с Кириллом и пишет с него проникновенный портрет-икону. Дионисий - большой любитель уединения. Основав свой первый монастырь с церковью св.Николая (это - один из первых примеров почитания святого, культ которого потом широко распространился на Севере), он вскоре оставляет своих учеников и один уходит в леса. Слава об его "пустынничестве" доходит до Москвы, и великий князь высылает святому иконы и плотников - как бы в ответ на

10(23) сентября -
прп.кн.Андрея, в иночестве
Иоасафа, Спасокубенского (1453)

14(27) февраля -
прп.Исаакия, затворника Печерского,
в Ближних пещерах (ок.1190)

1(14) июня -
прп. Дионисия,
игум.Глушицкого (1437)



это покровительство храм посвящается Покрову Богородицы - по московской традиции. К Дионисию опять приходят ученики, он опять уходит и устраивает третий монастырь - теперь храм посвящается аскетичному Иоанну Предтече. Здесь Дионисий остается вплоть до кончины, сурово относясь к любопытствующим паломникам, особенно к женщинам. С тем чтобы его не "смущали", Дионисий строит в двух верстах от своей обители гостиницу и церковь с наказом "не докучать монахам". За семь лет перед смертью он выкапывает свою могилу и в течение семи лет каждый день приходит к ней молиться. Дионисий отказывается от подарков, повторяя, что "монахам нужна молитва, а не золото" (правда, один раз он уступает, когда московский князь "слезно" просит принять некий дар - "ради веры" князя). Своих учеников Дионисий учит "держат послушание", не иметь своей воли. Когда у одного из умерших монахов находят утаенные им деньги, Дионисий приказывает похоронить их вместе с телом ослушника. Потрясенная таким наказанием, братия вымаливает усопшему прощение - Дионисий выбрасывает проклятые деньги в реку. Лишь раз в предании облик святого озарен улыбкой - но это горькая улыбка: святому доносят о краже коней, он улыбается. Аскетический образ Дионисия настолько поразил русский Север, что, когда Кириллов монастырь празднует свое 500-летие, в нем высаживают три дерева: в честь Кирилла, Сергия и Дионисия. От этих деревьев начинается лесенка, ведущая к храмам во имя Сергия Радонежского с приделом Дионисия Глушицкого и во имя Усекновения честной главы Иоанна Предтечи с приделом Кирилла.

О самом известном ученике Дионисия св. Григории Пельшемском (по обители на реке Пельшма) говорилось, что у него была "одна воля" с Дионисием и то, что не успел сделать учитель, продолжил ученик. Григорий происходил из боярского рода. Рано лишившись родителей, он был в 15 лет насильно принужден к заключению брака, но успел сбегать из-под венца в один из московских монастырей. В монастыре он пользуется большой популярностью, но осознает, что слава мешает его духовному росту, и удаляется к Белому озеру, где находит Дионисия. Дионисий "воспитал ум и сердце" Григория в любви к отшельничеству: в результате

Иисусъ.

Возлюбилъ во сгнпчтѣ просвѣщеніе истинны,
 Шнлазъ сѣи ажъ тьмѣ: їдшн во сгн, спсе, не
 терпѣше твоеѧ крѣпости, падоша. снхъ же
 їзбавьшнса вопіаху къ вѣце: Радѣйсѧ, їсправленіе
 чловецквѣз: радѣйсѧ, ннзпаденіе вѣсѣвѣз. радѣйсѧ,
 прѣвстн державѣ поправшам: радѣйсѧ,
 їдшльскнмъ лѣстѣ шванчнвшам. радѣйсѧ море, пото-
 пнвшее фараѡна мыслнннго: радѣйсѧ камени,
 напоишій жаждащнхъ жнзнн. радѣйсѧ сгннннн
 стѣлпе, наставлѧмъ сщцнхъ во тьмѣ: радѣйсѧ
 покрѣвѣ мнрѣ, шнршій сѣвѧка. радѣйсѧ пнще,
 манны прїемннце: радѣйсѧ, сладостн стѣла сл-
 жнтельннце. радѣйсѧ земаѣ шѣтѣвннл: радѣйсѧ,
 їзѣ нѣлжѣ течѣтѣ мѣдѣ ї млекѣ. Радѣйсѧ невѣ-
 сто нннѣстнл.



30 сентября (13 октября) -
 прп. Григория Пельшемского,
 Вологодского Чудотворца (1442)



ученик уходит в леса и устраивает собственную пустынь. По преданию, там, где он услышал звон колоколов, он остановился и водрузил крест. Несмотря на отшельничество, Григорий успел оставить по себе славу помощника сиротам, защитника слабых и даже борца за справедливость: он резко обличал московского князя Дмитрия Шемяку, грабившего северные города. За это святой чуть не заплатил жизнью: княжеские слуги до полусмерти избили Григория, но такое насилие над святым плохо кончилось для самого князя - он смертельно заболел, и лишь прощение Григория его вылечило. К своим похоронам Григорий отнесся крайне пренебрежительно, завещав ученикам "затопить грешное тело в болоте", но ученики хоронят Григория на самом почетном месте - с правой стороны от алтаря.

Ближайшим лесным соседом Григория был св.Павел Обнорский (по реке Обноре). Постриженник Сергиевого монастыря спустя сто лет со дня его основания, он уже не находит искомым духовную пищу - его раздражает "празднование" Троицких монахов. Смирение, пост, любовь - три любимых заповедей Павла. Придя в северный лес, Павел устраивается в двух верстах от Григория, но Григорию это расстояние кажется слишком малым для "серьезного" отшельничества. Он просит Павла "отодвинуться", и тот с готовностью соглашается - "любовь не раздражается". Пишу Павел принимает лишь для поддержания жизни. Он ценит чистоту слов и помыслов, "внутренний подвиг", отречение от мирских забот, повторяя: "Да не прилипнут к уму земные вещи". Павел проповедует любой посильный труд, убеждая своих учеников, что Богу приятна даже самая малая работа: "Господь поддержит и небольшой подвиг". Павел настолько отзывчив к просьбам паломников, что как-то раз его ученики решают сами дать ему урок, подговорив одного крестьянина переодеться нищим и выманить у Павла деньги. Возвращая деньги, ученики разъяснили свой назидательный розыгрыш, но святой отказывается принять деньги назад, более того - отдает их обманщику обратно и говорит: "Господь велел быть милостивым и давать просящим и даже - непросящим: не побуждайте меня к немилосердию".

Духовную, созерцательную линию Сергия и Кирилла до совершенства довел св.Нил Соский.

10(23) января -
прп.Павла Комельского,
или Обнорского (1429)



Павел Обнорский, великий любитель безмолвия, именовавший безмолвие матерью всех добродетелей, являет образец совершенного отшельника, редкого на Руси. Он целые годы жил в дупле дуба, и Сергей Нуромский, его сосед и тоже большой пустыннолюбец, нашел его здесь в обществе медведя и других зверей кормящим птиц, которые сидели на его голове и плечах: этот один образ оправдывает имя Фиваиды, данное старым русским агиографом (А.Н.Муравьевым) северному русскому подвижничеству.

(Г.П.Федотов. Святые Древней Руси)

7(20) мая -
прп.Нила Сорского (1508)

Будучи монахом Кириллова монастыря, Нил, очевидно, уже не удовлетворен его уровнем духовности и покидает обитель, обустроиваясь, как и Ферапонт, в 16 верстах от креста, поставленного Кириллом, но, в противоположность Ферапонту, находит безрадостный, "безводный и бесхолмный" пейзаж - пейзаж крайнего отречения. Его жилище еще более "тесное и жесткое", чем первая Кириллова хижина. Здесь, на реке Сорке, Нил основывает первый русский скит - некий компромисс между полным отшельничеством и "общим житием". Основатель скита и пришедшие к нему (Нил их экзаменовал) селились вокруг общей церкви в отдельных хижинах. Хижины стояли друг от друга на таком расстоянии, чтобы можно было услышать громкий голос, но молитву - нельзя.

В отличие от большинства святых русского Севера, Нил оставил после себя значительное письменное наследие. Окруженный чахлыми деревьями и унылыми болотами, он пишет свои многочисленные послания и знаменитый впоследствии монастырский "Устав", излагая идеи нестяжательства, смирения, кротости и терпения. Эпиграфом к его учению можно было бы поставить евангельское: "Когда Я послал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем" (Лука. 22.35).

Обычно учение Нила резко, драматично противопоставляют учению св.Иосифа Волоцкого, про которого можно сказать, что он довел до логического завершения "деятельную линию" Сергия Радонежского.

Эта противоположность Нила и Иосифа часто преувеличивается - их идейный конфликт во многом был развит уже позднее, их учениками.

Оба они - "наследники" Сергия. Оба прославлены Церковью как святые. У них общая цель - торжество христианства на Руси. Оба недовольны существующим спустя век после смерти Сергия порядком.

Иосиф, в 20 лет став монахом, в 40 покидает Москву и странствует по Северу, где ему, кстати, особенно понравился Кириллов монастырь (Нила он уже в это время не устраивает). В это же время он вынашивает свои идеи сильной, владетельной, могущественной Церкви. При этом он убежден, что монахи должны быть личными "нестяжателями" и не иметь своей собственности. Другое дело - монастырь.

Егда по
 слухъ въ безъ кагъланца и
 безъ либуха и безъ сапоука, еда
 чегоу лишеши вѣстѣ; Оши же
 рѣша: ни чегѣоу же.

9(22) сентября -
 прп.Иосифа, игумн.Волоцкого,
 чудотворца (1515)

Вернувшись из северных странствий, он основывает в подмосковном Волоколамске свой монастырь, традиционно посвятив главный храм Борогодице. Своим монахам Иосиф за-прещал иметь даже книги и иконы - все общее. (В старости, правда, он уже терпимее относится к личной собственности монахов.) Здесь, в Волоколамске, Иосиф вынашивает и пропагандирует свою идею "сильной Церкви", причем вовсе не в угоду московской власти, а в пику ей, мечтая о теократическом государстве. История показала, что деятельная, политизированная церковь вынуждена была вступить в союз с московским царем, и в "православном царстве" главный акцент пал все-таки на царство, а потом уже на православие.

О судьбе Нила известно намного меньше, чем об Иосифе: он далек от московской политической жизни. Но многое известно о его напряженном, богатом внутреннем мире, в котором главенствовали смирение и любовь.

Он выступает, едва ли не единственный в русской истории, против церковных украшений, логично продолжая принципиальную "нестяжательную" линию. (Иосиф же пышно отделал свой монастырский храм.) Учителем Нил себя не считал ("Есть только один Учитель - Христос") и просил обращаться к нему "брат".

Нил проявляет широкую терпимость в вопросах чистоты православия, призывая максимально мягко отнестись к новгородской ереси, потрясая в то время русскую Церковь (Иосиф предлагает смертную казнь.) Ученики Нила идут еще дальше - укрывают в своем скиту беглых еретиков. Нил продолжает северную традицию пренебрежительного отношения к своему телу и завещает выбросить свой труп в ров - но его, конечно, не слушаются и после смерти хоронят в монастырском храме.

Два крайних взгляда на образ монашеской жизни в результате все-таки сталкиваются. Победа остается за идеями Иосифа. Московская власть не сразу научилась использовать "иосифлянство" и сперва даже поддерживала "нестяжателей", надеясь устранить таким образом политическую конкуренцию со стороны Церкви. К памяти Нила Сорского тепло относился Иван Грозный, который, кажется, тонко почувствовал своеобразие святого: он решил построить над гробницей Нила каменный храм, но затем оставил старый, деревянный, заявив, что ему во сне явился святой и запретил расточительное строительство. В XVIII веке каменный храм все-таки строят, но очень долго -

Нилъ иже ѿ.

ѿ
ѿгодати дати восхотѣвъ, долговѣз дрѣвнихъ,
всѣхъ долговѣз рѣшитель челоуѣкъмъ, приде
собомъ по шедшимъ тогда ѿгодати, ѿ раз-
дрѣвъ рѣкопьянѣ, слышнѣ шъ всѣхъ сѣце:
планаѣа.

стены не раз обваливаются.

Образ Нила Сорского с его широтой, терпимостью, высотой духа стал необычайно притягательным для многих поколений православных людей, и поныне некоторые паломники пешком, молча преодолевают 16 верст от Кириллова монастыря до Нило-Сорской пустыни, где их ждет неприятный сюрприз: психиатрическая больница, устроенная в монастырских стенах, и несчастные ее обитатели, лишенные разума. Над могилой святого - больничная кухня.

Многие северные святые находились под сильным влиянием Нила, в особенности - плеяда "комельских" святых, спасавшихся в огромном Комельском лесу.

Св.Инноцентий Комельский, любимый "собеседник" Нила, бывший вместе с ним на Афоне, известен своим проникновенным предисловием к Нилову "Уставу". Внутреннюю строгость он сочетал с внешней: запретил пускать в свой скит женщин (в этом он был ближе к Иосифу).

Судьба св.Корнилия Комельского напоминает судьбы многих пустынножителей: двадцать лет он живет в лесу один, большей частью безмолвствуя. Пройдя этот "испытательный" срок, он позволяет себе срубить церковь и принять первых учеников. К посетителям он еще более строг: ставит за версту от своего монастыря часовню с кружкой - кто хочет сделать доброе дело, может оставить деньги и идти обратно. Корнилий, как и Нил, высоко ставит книжное учение, в особенности "Лествицу". Однажды разбойники украли его книги, но не смогли найти в лесу обратного пути, вернулись и покаялись: святой простил их и подарил им книги. Главный храм в монастыре был посвящен, конечно, Богородице, а другой - св.Антонию, Великому египтянину, который однажды явился в Комельском лесу с хлебами и завещал раздать их нищим и сиротам - после этого Корнилий выстроил богадельню. Святой дважды покидает свой монастырь, но оба раза монахи уговаривают его вернуться. Он старается вести себя так скромно, что и умирает незаметно, не собрав, вопреки традиции, у своего смертного одра учеников.

Трагичными были обстоятельства жизни св.Арсения Комельского. Когда он приходит в глухой Комельский лес, разбойники убивают его спутников - но Арсений не уходит. Много досаждают ему дикие звери, пока святой не

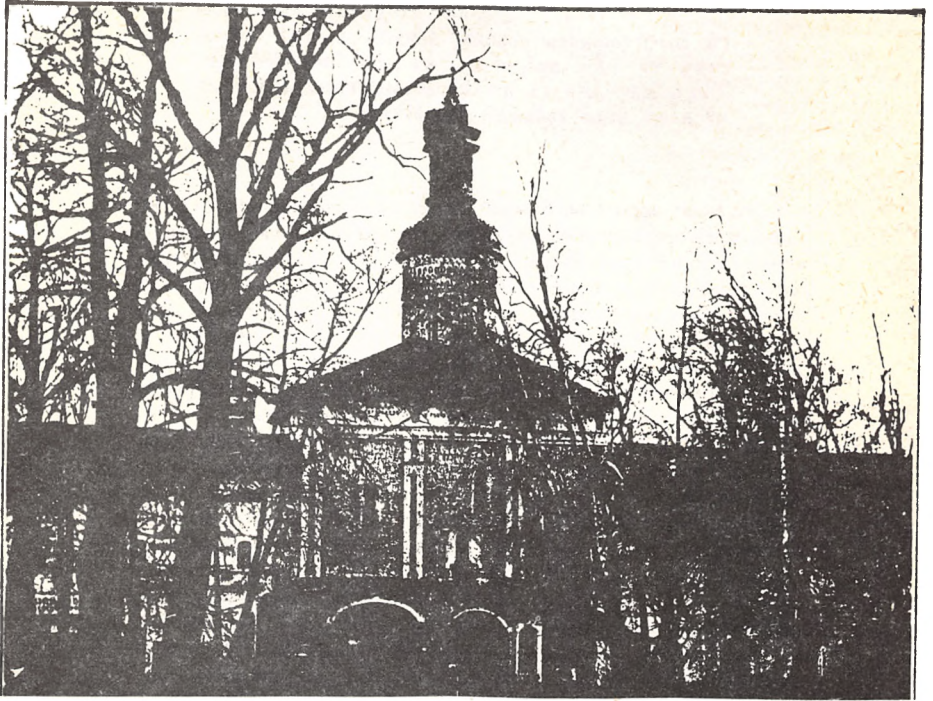
19 марта (1 апреля) -
прп.Инноцентия Комельского,
Вологодского (1521)

19 мая (1 июня) -
прп.Корнилия, чудотворца
Комельского (1537)

І ко : з ѿ .

Свѣтопріемнѣ свѣщѣ, свѣримъ во тѣмѣ пѣль-
шнѣсл, зрѣмъ стѣи дѣи: невещественный бо
вжиганци огнь, наставляетъ къ разумѣ вѣ-
ственнымѣ есл, зарѣи ѿмъ просвѣщанциамъ, звѣ-
ніемъ же почитаемамъ, сими: радѣисл лучѣ ѿмнаго
снѣга: радѣисл свѣтѣло незаходимаго свѣта.
радѣисл мѣнѣ, дѣши просвѣщанциамъ: радѣисл,
ѿкъ грѣмъ, врагѣи ѿстрашанциамъ: радѣисл, ѿкъ
многосвѣтлое воздѣлаеш просвѣщеніе: радѣисл,
ѿкъ многогвѣщѣи источашеш рѣкѣ. радѣисл,
кѣпѣи живопишциамъ швразе: радѣисл, грѣхѣвнѣи
шѣманциамъ сквернѣ. радѣисл ванѣ, шмыванциамъ
гѣвѣсть: радѣисл чѣше, чѣрпанциамъ радость. радѣи-
сл шѣманіе хрѣтова бѣгоуханіа: радѣисл животѣ
тѣи наго вселіа. Радѣисл невѣсто невѣстнаа.

24 августа (6 сентября) -
прп.Арсения Комельского (1550)



смиряет их силой своего духа.

Почитают на Севере память и другого Кирилла, Новозерского. Прежде чем устроить свой монастырь, св.Кирилл 20 лет странствует по северным городам, отказываясь от ночлегов в домах и ночуя на церковных папертях (это сближает его с юродивыми). После этих странствий Кирилл находит маленький остров на Новом озере, в 30 километрах от Белого озера, и на сваях строит монастырь, который просвещенные паломники сравнивают с Венецией (теперь в этой "северной Венеции" - уголовная тюрьма).

Среди северных святых один - Александр Ошевенский - выделяется своим трогательным отношением к родителям. Приняв постриг в Кирилловом монастыре, он решает пустынно-жительствовать, но строит свою хижину отшельника напротив родительского дома. Особое внимание он уделяет своим племянникам и сам постригает их в монахи. Родной брат, потерявший детей (и работников), бросается на Александра с топором, но святой останавливает его словами : "Были твои дети, а теперь - слуги Божьи"...

4(17) февраля -
прп.Кирилла Новозерского (1532)

20 апреля (3 мая) -
прп.Александра Ошевенского (1479)

И́къ пло́дъ красны́й твои́-
 гѡ спаси́тельнагѡ сі́лнѣа, зема́а рѣскаа прино-
 ситъ ти, гдѣ всѧ стѣла, въ то́й просла́виша.
 Тѣхъ мѣтвѣми въ мѣрѣ гавѣоцѣ цѣрковѣ ѿ стра-
 нѣ на́ше вѣдоу соблюди́ милости́ви.

Эти люди, осененные Божьей благодатью, исполняющие Божью волю, своей преданностью Христовым заветам сделали возможным общение Неба и России. Они выстроили лестницу, по которой восходят и нисходят Ангелы. И сами стали "земными Ангелами, небесными человеками". Их особая близость к Богу почитается русской памятью как святая. Их слова и даже их безмолвие, их поступки, совершенные или совсем не совершенные по их удалению от мирской суеты, их молитвы, слышные и неслышные, питают, как чистые ключи, реку христианства, разлившуюся по России. В русском храме человек, окруженный ликами святых, не чувствует себя одиноким или, напротив, - избранным, - он попадает в братскую семью, образованную духовными узами христианской любви. Иконы с ликами святых становятся "окнами в рай". Воспоминания о подвигах веры радуют и возвышают. Мысль о духовном (и кто знает - может, и о кровном) родстве со святыми зовет к совершенствованию. Обращаясь к ликам святых, на паломническом пути к святым местам, где они совершали свои трудные, но радостные подвиги, поклоняясь их мощам, на которые, как и на их души, снизошла благодать, православный человек обретает своих "сомолитвенников", своих друзей, которые - друзья Божьи. Веками приближают прославленные русские святые свою родину к Богу. Они - проводники, помощники, спутники на ее христианском пути. Они не отделяют Россию от Христа, напротив - соединяют, сродняют, дают право истинно говорить "Отче н а ш" от имени живших, живущих и еще не рожденных. Святые жили во Христе, и в них жил Христос, они - зеркала Христовы, и если взглядеться в их лики, то можно увидеть Христа.

И все же их лики - особенные.

Это - русские лики.

Днѣсь лѣкъ стѣхъ, въ зема́-
 ай на́шеи бѣѡ о́ггодѣвишехъ, предстоѣтъ въ цѣр-
 кви ѿ невидѣннѡ за ны́ мо́литса бѣѡ: ѿгдѣи стѣ
 нѣмъ славословѣтъ ѿ всѣи стѣни цѣркве х́тѡвы
 ѡмѡ спрѣздѣють: ѡ на́се бо мо́латъ всѣи кѡп-
 нѡ прѣвѣчнагѡ бѣѡ.

...Заторопилась через мост - в гору, к Собору. Вошла в него, поднялась на леса: первый, второй ярус - все выше и выше, все труднее дышать... Вот и барабан: на меня смотрит Господь - между нами нет расстояния. Но чтобы взглянуть Ему в глаза - надо лечь на спину на доски лесов...

"Господи, помоги нам всем..." И не знаю, что сказать дальше, о чем просить...

И Господь услышал меня: под Его взглядом я уснула глубоким, счастливым детским сном на пятом ярусе лесов внутри Собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря...

Собор наш существует 500 лет, и его истинное место в общей системе культуры только-только начинает проясняться. Собор стоит ровно в середине тысячелетнего христианского пути Руси: в 1488 году его начали возводить ростовские мастера, а в 1490 году строительство было завершено.

Возведение Собора связано с ростовским князем Оболенским, который построил в нашем монастыре под именем Иоасафа. И в монастыре ферапонтовом Ферапонтовом, и в культуре русской Иоасаф занял свое место: скромное и очень достойное. Попутно замечу, что многие представители рода Оболенских на протяжении нескольких столетий вносили свой вклад в строительство русской культуры. А в нашем монастыре с благодарностью помнят князя Алексея Васильевича Оболенского, который в

начале 20-го столетия возглавил комитет по восстановлению Ферапонтова монастыря и много преуспел в этой деятельности.

В 1502 Дионисий с сыновьями Владимиром, Феодосием, Андреем, с другими - безмянными помощниками - Собор расписывает.

С тех пор сказано достаточно и точных, и общих слов о гении Дионисия, о его мудрости, о красоте его росписей. Мы не устаем говорить в экскурсиях, что на территории нашей страны нет больше памятников средневековой живописи, которые бы сохранились в таком полном композиционном составе и объеме, как в Соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Но что стоит за этими словами?

Движение нашей жизни, наше осмысление бытия задано там, в глубине столетий, другими людьми, предшественниками... И так уж сложилось, что вся древнерусская философия, все глубинные идеи русской жизни были выражены прежде всего и полнее всего в иконописи и стенописи. Именно через изобразительный образ на протяжении столетий русский человек воспринимал главные, организующие понятия человеческой личности: свободу, добро, красоту, порядок, волю, правду, любовь - и все, что им противостоит. Живопись вобрала в себя и философию, и поэзию, и музыку. А визуальная грамотность была очень высока. Видеть умели; без этого человек чувствовал себя беспо-

мощным (как в наше время не умеющий читать и писать). Видеть учили, учила этому жизнь, весь ее круговой, размеренный ход, весь миропорядок, в котором небо, земля, человек, травинка каждая - занимали свое, строго определенное место. И человек должен был войти в этот круг, принять на себя часть работы, ему отведенной, и стараться достойно ее выполнить, ничем не нарушив единства добра и красоты - ибо на этом единстве все держится. Достигалось же это большим трудом, борьбой с самим собой.

Вот в нашем Соборе и показана правда и мера этого пути, гармония внутреннего противоборства, путь к цельности в постижении себя самого, а через себя и всего сущего. Душевное равновесие и духовное здоровье человека.

... Не говорю здесь о том, что в основу росписи Собора положен Великий Акафист Богородице, что глубина и философское осмысление Дионисием каждого слова Акафиста - беспредельны; что это именно глубина, а не бездна; чем глубже в это проникаешь, тем явственнее в тебе свет, радость и надежда... Говорю только о том, что явлено в Соборе каждодневное действие человеческого бытия: утверждение формы личности, ее становление, путь к самому себе. Здесь все рассказано и показано: как любить, как вырастить ребенка, как работать, как относиться к земле и небу, к соседу, как прощать, как подниматься после падения, как слушать другого, какой должна быть походка и каким - голос... Здесь показано, зачем он вообще нужен - человек: откуда он пришел и куда уйдет...

Ікога зъ.

Исвою показа тварь, явася зиданитель, намъ ш неговъ вывшымъ, ѿзъ везсѣменныа прозавъ оутробы, ѿ сохранѣзъ ѿ, ѿкоже бѣ, негѣбннѣ, да чѣдо видѣше, воспоймъ ѿ, вопїице: Радѣйсѣ цвѣте негѣбнїа: радѣйсѣ вѣчне воздержанїа. радѣйсѣ, воскресїа швразъ швантанїа: радѣйсѣ, аггальское жнгїе ѿкалїа. радѣйсѣ древо свѣтлоплодонїтогъ, ш неговъже питанїемъ вѣрнїи: радѣйсѣ древо блггослїнолїственное, ѿмже покрыванїемъ мнози. радѣйсѣ, во чрепѣ носѣща ѿзбавнїемъ патѣннннїа: радѣйсѣ, рождаша наставннка завѣждашымъ. радѣйсѣ, сѣдїи прѣнагъ оумоленїе: радѣйсѣ, многнхъ согрѣшенїи прощенїе. радѣйсѣ оадѣждо нагнхъ дерзновенїа: радѣйсѣ лмвы, вслковъ желанїе повѣждашїа. Радѣйсѣ негѣсто не негѣстнаа.

Еще раз оглядываюсь на тысячу лет назад: ровно на середине этого пути встал наш Собор. К тому времени духовной одаренностью, духовной работой народа был накоплен тот опыт, который доверено было воплотить Дионисию. Уже тогда было ясно (Иоасафу, наверно), что Собор этот приготовлен для будущего, для нас, а еще больше для тех, кто придет вслед за нами...

Наше дело - воспользоваться этим.

На протяжении столетий здесь забылись о будущем, здесь наработывали, накапливали опыт в трудной борьбе с собой, в тяжелой, изнуряющей, подчас непосильной работе лучшие русские люди - те, кто хотел стать добрее, чище, совершеннее...

И такая глубокая, последовательная работа была возможна в первую очередь благодаря Собору: в нем уже было все, что нужно человеку...

Спускаюсь с пятого яруса лесов в Соборе. Хожу туда редко. Не такой уж это легкий путь: войти в Собор, подняться на леса, добраться до самого верха и взглянуть в глаза Господу...

27 октября 1988 г.

ВОПЛОЩЕНИЕ АКАФИСТА

В АРХИТЕКТУРЕ ФЕРАПОНТОВА МОНАСТЫРЯ

"...никто не станет отрицать, что традиционная культура - это прежде всего культура, основанная на священном тексте: вне этой своей основы она не только непонятна, но, так сказать, вообще не существует."

В.С.Семенцев

XV, XVI, первая половина XVII века поражают могучей концентрацией традиции в стенах маленького Ферапонтова монастыря. Вся жизнь обитатели пронизана идеей совершенства: осуществления человека по образу и подобию Божию. И идея эта зримо явлена во всем архитектурном ансамбле Ферапонтова монастыря.

Первая каменная постройка монастыря (1490г.) - собор Рождества Богородицы, основу росписи которого составляет тема Боговоплощения, явленная в первую очередь через композиции Акафиста Богородице. Но, основываясь на традиции исполнения Акафиста, на его осмыслении Дионисием, ясно понимаешь, что сам Собор Рождества Богородицы со всем, что составляет его содержание и сущность, - одновременно и архитектурное закрепление строф Акафиста, прославляющих Богородицу как "одушевленный

Їкогѣ ѿ.

Поюще твоѣ рѣчѣѣ, хвалѣмъ тѣ всѣ, ꙗкѣ ѿдѣшевлѣнный храмъ въ: во твоѣй бо вселѣлся ѿтробѣѣ, содержѣй всѣ рѣкомъ гдѣ, ѿсѣѣ, прослѣви, ꙗ навѣѣ вопѣѣти тебѣ всѣхъ: РАДѢЙСѢ селѣнѣ въ ꙗ слова: РАДѢЙСѢ, сѣла сѣѣхъ въльшла. РАДѢЙСѢ ковчѣже позлащѣнный дѣхъ: РАДѢЙСѢ сокровѣще животѣ неистощѣемое. РАДѢЙСѢ ѣтнѣѣ въѣнче царѣѣ въгочестѣѣвыхъ: РАДѢЙСѢ честнѣѣмъ похвалѣѣ ѣеревѣѣ вългоговѣѣнныхъ. РАДѢЙСѢ цѣркѣѣ непоколѣбѣннѣѣмъ столпѣ: РАДѢЙСѢ цѣртѣѣлѣ нерѣшѣннѣѣмъ стѣнѣѣ. РАДѢЙСѢ, ѣѣмъже въздѣѣнѣѣтъ повѣдѣѣ: РАДѢЙСѢ, ѣѣмъже низпадѣѣтъ вразѣ. РАДѢЙСѢ, тѣѣла мѣгѣѣмъ врачевѣнѣѣ: РАДѢЙСѢ, душѣѣ мѣѣмъ спсѣнѣѣ. РАДѢЙСѢ невѣѣсто неневѣѣстнѣѣмъ.

храм", в пространстве которого зримо совершается чудо воплощения Христа.

Но если рассматривать архитектурный ансамбль Ферапонтова монастыря как цельное философское и смысловое явление, то текст Акафиста и дальше получает архитектурное "начертание": вторая по времени каменная постройка монастыря, Благовещенская церковь (1530г.) - это зримый "кондак на Благовещение", - одно из древнейших названий Акафиста, отражавшее его назначение.

Шло время. Текст Акафиста продолжал жить и звучать в монастыре, и в росписях Собора, и на страницах богатейшей монастырской библиотеки, и в литургии по определенным дням. Акафист пронизывал весь монастырский уклад: входил в молитвенное правило, в чин погребения монахов, присутствовал в размышлениях живущих здесь людей, которые ниточку традиции передавали друг другу до самой середины XVII века.

Как раз в это время в монастыре и "дописывается" каменный текст Акафиста: в 1647 году возводятся новые Святые врата с двумя надвратными церквями, Богоявления и Ферапонта.

Так основная идея Акафиста - через похвалу Богородице и Благовещение - идея Богоявления находит зримое и очень достойное завершение в архитектуре Богоявленской церкви с приделом во имя Ферапонта. Кондаки и икосы Акафиста замкнуты, и этому не помешали столетия: каменную книгу "писали" мастера, которые отчетливо, ясно улавливали смысл, заданный Собором, росписями Дионисия, временем - ведь традиция не прерывалась.



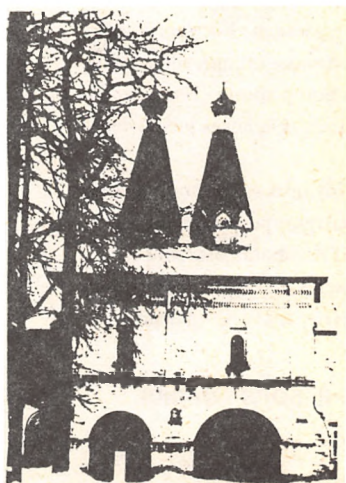


Случай редкий, пронзительный и поразительный по всеобъемлющему воплощению - Великого Акафиста Богородице и в слове, и в живописи, и в архитектуре. Но воплощение это не осуществлялось само для себя. Бог явлен миру для человека, для осуществления человека по образу и подобию Божию. И в каменной книге Ферапонтова монастыря это ясно читалось. Два одинаковых шатра надвратных церквей Богоявления и Ферапонта - это и есть ответ на появление в мире Бога: конкретный человек, Ферапонт, выбрал для себя путь Богочеловека и достойно прошел этим путем, осуществив в себе образ и подобие Божие. И в архитектуре это наглядно явлено: и снаружи, и внутри - надвратные церкви - единый объем, одно пространство...

И дальше ровная линия от шатра Богоявленской церкви идет к шатру церкви Мартиниана и к маленькой главке Соборного придела во имя Николая Чудотворца - наглядные примеры воплощения в себе - лучшего; эти люди

Кондаки д.

Великое естество Ангельское оудивися великому
 твореню божьичина дѣла: неприступнаго бо
 ѡикъ бѣа, зрѣши, есѣмъ приступнаго члвѣка,
 нами иже спривѣманца, слышаша же ѿ всѣхъ:
 Аллалиа.



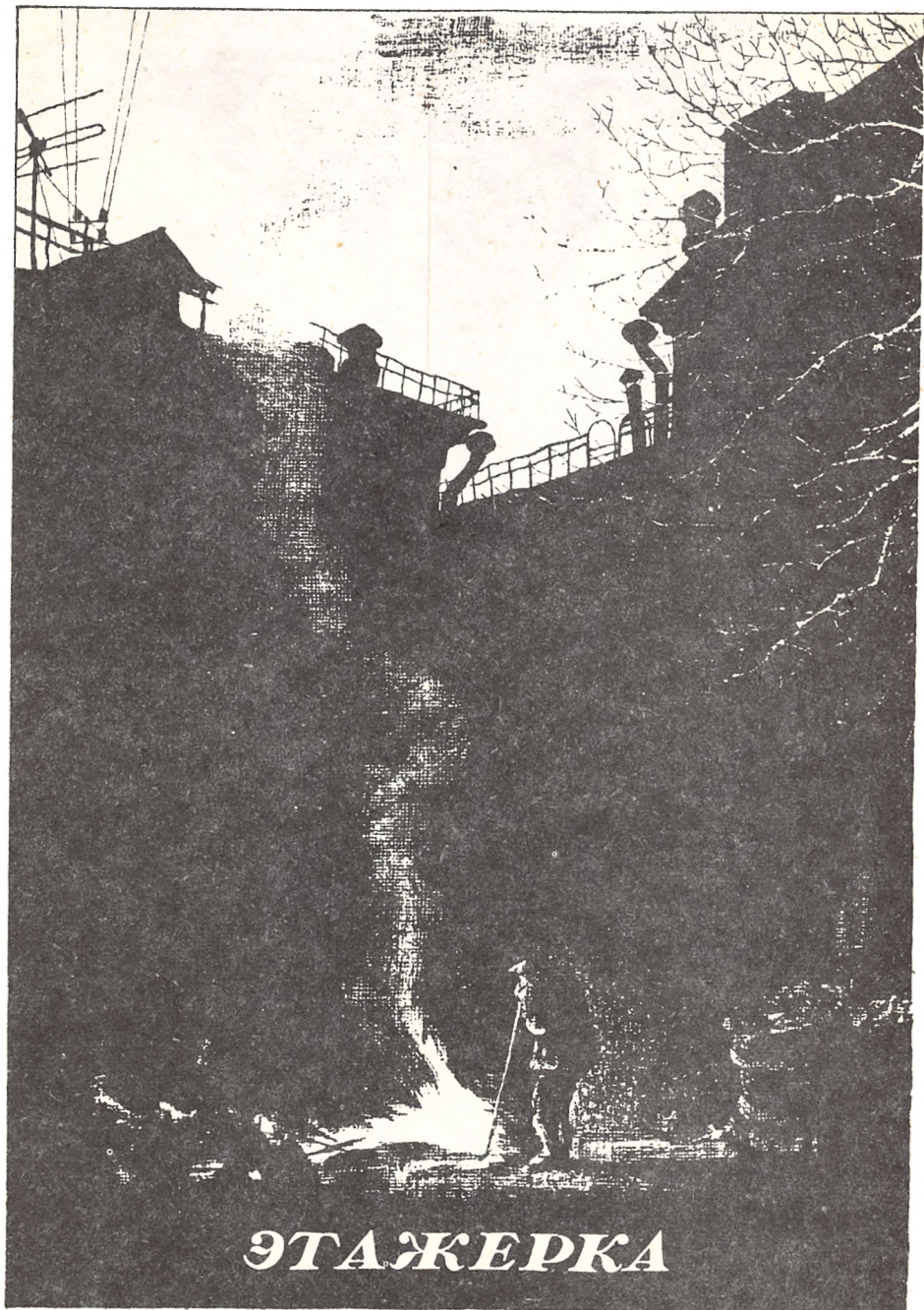


прошли путями совершенства и теперь предстоят перед Богом с молитвой. Так замыкается круг: рождество Богородицы - рождение обыкновенного человека к вечной жизни.

Если графически изобразить все памятники монастыря, то и линейное, графическое совпадение, рождение одного из другого, смысловая замкнутость и наполненность линий - "текст", возникающий на этом уровне, еще раз подтвердит нашу мысль: Бог явлен через последовательные стадии воплощения: Рождество Богородицы - Благовещение - Богоявление. И человек явлен через Бога.

Круг этот замкнут в слове, в живописи, в архитектуре и в людях, для которых текст Акафиста был живым и которые имели счастье жить внутри традиции и передать ее - дальше.

КОНЕЦЪ И БОГЪ СЛІКИ.



ЭТАЖЕРКА



Пост.

ПОВЕСТКА

Общество искусств «АРИОН» приглашает
 на в пятницу 25го апр. на 7 часов
 выступление «Светлая музыка» в
 Нарко в 7 часов. Пост по повесткам
 и рекомендациями казначей.

Председатель

Секретарь *И. П. Пондасевич*

Апрель 1912.
 Общества Искусств «АРИОН»
 Англическая набережная, д. 16.
 Серпуховская 48, к. 11.
 Мелкие дела
 25.4.1912.
 6 12 6
 ЭДОВ.

Я помню Гумилева еще по Царскому Селу. Я был тогда гимназистом, учился вместе с племянником его, Колей Сверчковым, а Гумилев уже кончил гимназию. Наши родители были дружны. С.Я.Гумилев был знаком с моим отцом по делам служебным. Мой отец работал в Адмиралтействе, а С.Я. был морским врачом. И наши матери дружили. Хорошо помню Анну Ивановну Гумилеву. Властная, высокого роста, крепко сложенная, она, по-моему впечатлению, держала в руках всю семью. Сводный брат Н.С., Дмитрий, служил в гусарских гвардейских частях, квартировавших в Царском Селе. Сестра Н.С. - Александра, в замужестве - Сверчкова, была матерью моего приятеля Коли, с которым мы часто ловили вместе рыбу с лодки на царскосельских прудах.

Помню хорошо директора нашей гимназии Иннокентия Анненского, преподавателя биологии Дмитрия Аркадьевича Судковского, поэта Комаровского, тоже царскосела. Не знаю, жив ли кто-нибудь еще из царскосельских гимназистов. После революции я встречал только Евгения Полетаева, тогда комиссара НКП, который учился в свое время в одном классе с Гумилевым.

Гумилев как поэт стал известен мне, когда в книжной лавке в Гостином Дворе (в Ц.С.), которую на свой счет содержал какой-то купец, я увидел первую книгу Н.С. - "Путь конквистадоров".

Тогда я пробовал свои силы в литературе. Мной были написаны три новеллы, которые были примерно того рода: девушка говорит влюбленно-му в нее юноше на берегу омута: "Вон там лилии. Достань их - полюблю."

Запись беседы с А.К.Станюкевичем в августе 1966 года.

Костюмированный вечер 3 февраля 1912 г.

Лежит в центре Лев Евгеньевич Аренс, справа от него полулежит Николай Степанович Гумилев, слева в белом платье сидит на стуле Вера Евгеньевна Аренс, крайний слева - Александр Николаевич Пунин, в центре в профиль - Николай Николаевич Пунин, второй справа - Владимир Андреевич Гаккель (будущий муж Веры Евгеньевны Аренс).
Фото из архива Евгения Львовича Аренса.

Юноша утонул, и его тело плывет мимо девушки с букетом лилий в руках. Я решил пойти с этими новеллами и своими стихами к Гумилеву. Мы жили в парке, а Гумилев в центре Царского Села.

Гумилев пригласил меня в кабинет. В глаза бросились расписанные маслом стены, рисунок изображал водяного, омут и лилии, почти как в моей новелле. Гумилев послушал мои стихи, прочитал новеллы и отозвался о них довольно-таки критически, сказав, что слог мне не удастся, слишком много прилагательных и т.д.

Отзыв Гумилева охладил мой творческий пыл, и я бросил писать почти до 30-ти лет, когда я вошел в группу, примыкавшую к футуристам, вместе с Тихоном Чурилиным.

С тех пор я иногда встречал Гумилева в Царскосельском парке, но эти встречи плохо запомнились.

Гумилев же встречался с моими сестрами Зоей и Верой, известной поэтессой Верой Аренс, он даже посвятил ей стихотворение.

В 1910 г. я услышал, что Гумилев женился на неизвестной мне тогда Ахматовой. Вскоре он нанес вместе с ней визит моим родителям в Адмиралтействе, я случайно в это время был там и тогда увидел ее впервые. Запомнилось, как Гумилев шел под руку с Ахматовой по коридорам Адмиралтейства.

Второй раз я видел Ахматову и Гумилева вместе в редакции журнала "Аполлон", куда я зашел по какому-то делу. Там были Пунин, Чулков, Кузмин, Маковский.

Началась война. Я ушел добровольцем во флот. Сначала - матрос II-й статьи в казармах на Поцелуевом мосту. Затем воевал на Черном море, получил Георгиевский крест и звание гардемарина, шеголял в новых погонах, и все называли меня адмиралом. Наконец я ушел в отпуск и отправился домой в Царское Село. В вагоне поезда П.-Ц.С. встретил Гумилева. Он был в форме, с солдатским "Георгием". Мы говорили с ним о войне, о службе в армии. Помню, как он советовал мне во время сна в походе всегда снимать шинель и накрываться ею - так теплее.

После революции встречался с Н.С. мало, только на литературных вечерах. Пригласительный билет на один из таких вечеров, подписанный Вс.Рожественским, у меня где-то сохранился.

Неожиданной была весть о его аресте. Всем было известно, что он не был замешан ни в каком заговоре, а просто был убежденным монархистом и всегда был очень резок в своих суждениях.

Н.Пунин тоже пострадал в связи с этим заговором и просидел месяц на Шпалерной.

Уже позже, в 1925 году, я взял эпиграфом к одной из своих статей о лесном хозяйстве строки их стихотворения Н.С.

Я знаю, что деревьям, а не нам
Дано величье совершенной жизни...

Эта статья была опубликована в N 10 журнала "Украинский охотник и рыболов" за 1925 год.

Маргарита Марьяновна Тумповская.

Это имя должно заинтересовать литературоведа, как имя одной из возлюбленных Гумилева.

Если даже не вникать в ее собственное литературное творчество, оставившее следы в печати. Упомяну прекрасную статью в "Аполлоне" о творчестве Н.С.Гумилева. Так пишет художник о художнике.

Гумилев посвятил своей любимой не одно стихотворение, не помню, всего, но назову "Сентиментальное путешествие" (кажется, напечатанное только в посмертном сборнике) и главное - одну из наиболее пленительных лирических жемчужин "За то, что я теперь спокойный".

В июле 1916 года, гуляя со мной по Массандровской улице в Ялте, Н.С. прочел мне его как недавно написанное. Я подумала: "Как должна быть счастлива та, вызвавшая пестрокрылый сон"...

Какой это был год? Наступила осенняя пора. Во Дворце Искусства (Поварская 52) Брюсов вел творческий поэтический семинар. (1918г.?) Набралось много буйной молодежи. Читали стихи кто во что горазд. И горазды были более всего на самонадеянные выкрики. Помню, об одном из



Редакция "Сумерек" благодарит Марьяну Львовну Козыреву (дочь М.И.Тумповской и Л.С.Гордона) за любезно предоставленные материалы из семейного архива.

прочитанных стихотворений Валерий Яковлевич сказал: "Здесь наиболее интересное выражение у вас - "море вздурило". Я сидела в тесной толпе малознакомых авторов. Кое-кого я видела и раньше. Один из поэтов попросил у меня тетрадочку стихов и вернул с единственным замечанием: "Смял не я".

Мне захотелось испробовать свой голос, как он прозвучит в разнужданном хору, и я прочла свой "Сеанс Джиоконды", одну из первых проб широких тем, опыт, теперь отпавший для меня, как искусственный. Валерий Яковлевич сказал: "Погодите, сейчас неподходящая обстановка, об этом надо поговорить особо". По окончании семинара ко мне подошла незнакомая женщина в темном платье с тонким и строгим лицом. Она застенчиво сказала: "Мне и раньше приходилось слышать Ваши стихи, и теперь мне понравился Ваш "Сеанс". Давайте познакомимся". - "Как Ваше имя?" - "Маргарита Тумповская". - "Как хорошо, что мы встретились! Я так ценю Вас за статью о Н.С.! Каждому поэту должно хотеть такого вдумчивого глубокого разбора!"

Так началось наше знакомство, длившееся годы. Мы виделись с большими перерывами, но много раз. Она сидела у меня в кресле на Ольховской, я бывала у нее в полуподвальной комнатке возле Пречистенского переулка. Как-то встретились в диетической столовой у Мясницких ворот. Я обратила внимание на робко и молитвенно сложенные на груди руки, но, не взглянув в лицо, прошла. Она меня окликнула (28г.?). Встречались в доме Чулковых. Помню встречи на улицах. Она шла с учебником английского языка и упала, приложившись ладонями к земле.

Последняя встреча произошла на даче на Лосиноостровской. Маргарита Марьяновна жила там с мужем, годоваловой дочкой и сестрой. Она ждала второго ребенка. Шел год 34-й (?). Я читала там:

В то грязнотаянье январское
Мир был унижен, хром и стар.

...Когда мы встретились, Маргарита была уже не очень молода и казалась усталой, измученной. Она бедствовала, была неустроена, ходила всегда в темном платье. Ее серые глаза, черные волосы, выразительные губы, - весь облик был бы красив в более благоприятных условиях. Тихий голос, петербургская воспитанность, неулыбчивая серьезность. Что делала она в те годы? Изучала английский. Задумывала с кем-то инсценировку для кино, почему-то ездила в Ташкент. Жила на даче у друзей в Петров-

ском парке. В Ташкенте сблизилась с молодым человеком, значительно моложе ее. Получила от него дочь Марьянку. Имени мужа никак не вспомню. Он был поэтом, и знакомство началось с показа его стихов старшему товарищу по перу. Стихи его читали впоследствии и мы с Варей Мониной по просьбе Маргариты. Они были располагающего душевного тона, но не определившимися, с невыявленным художественным лицом. Автор говорил, что стихи ему снятся и утром он записывает их целиком. Молодой человек знал в совершенстве английский и служил переводчиком при каком-то англичанине - дипломате. Патрон спрашивал его: "Хорошо ли готовит ваша жена?" Молодой человек весело отвечал: "Моя жена совсем не готовит". На Лосиноостровской станции существенным семейным блюдом была геркулесовая каша. Молодой человек держался бодро, казался волевым, был преисполнен решимости бороться за свою семью. Он намеревался ехать в колхоз преподавателем и там прочно обосноваться. Жену он почитал, в маленькую дочку был влюблен. В совхозе он был арестован, сослан, семья, очевидно, погибла, и больше я о Маргарите Тумповской ничего никогда ни от кого не слыхала. В памяти осталась надпись на книге, подаренной ей супругом: "Любимой - осенью".

Маргарита была очень мила и доверительна со мной. Она рассказывала, что с детства увлекалась магией, волшебством, мысленно была прикована к Халдее. Придавала значенье талисманам. О Халдее был у нее ряд стихов. Когда мы встретились, она была убежденной антропософкой. Ходила с книгами индусских мудрецов, йогов. Она с негодованием рассказывала, как откровенно неуважительно Чулков отзывался об ее верованиях.

Маргарита казалась созданной для углубленных, созерцательных настроений и поисков, для молитвенных жертвоприношений. Должно быть, ее ленинградская квартира, которую она ликвидировала в голодные годы, была полна книжными шкафами и полками.

Ее стихи? Она давала мне читать свой рукописный сборник "Дикие травы". Они были культурны, хорошего тона, но не казались сильными. "Интеллигентные стихи". Но в наши последние встречи она читала "Сонеты о Гамлете", и мы находили их замечательными. По творческому пониманию темы и поэтической покорительности. Где теперь эти умные, яркие, мастерские сонеты?

Маргарита (Мага, называли ее близкие) немало рассказывала мне о своем романе с Гумилевым. Привожу, что уцелело в памяти из ее сообщений.

- Он полюбил меня, думая, что я полька, но, узнав о моем еврействе, не имел ничего против.

- На литературных вечерах, где мы с Н.С. бывали, он ухаживал одновременно и за Ларисой Рейснер. Уходил под руку то со мной, то с ней. Лариса Рейснер была впоследствии из тех революционерок, которые кладут голову под гильотину, картинно позируя.

- Я как-то сказала Н.С.: "За мной начал сильно ухаживать возлюбленный подруги, который давно был связан с ней трогательным романом. Вот поди верь вам, мужчинам!" Он молчал и улыбался.

- Я никогда не могла назвать его Колей, так не шло ему это, казалось именем дачного мужа. Называла - дорогой. А он удивлялся и считал себя Колей.

- Когда наконец добиваться уж больше было нечего, он облегченно вздохнул: "Надоело ухаживать!.."

- Такой отвлеченный человек...

- Ведь его взгляды на женщину были очень банальны. Покорность, счастливый смех. Он, действительно, говорил, что "быть поэтом женщине - нелепость".

- Был случай, когда я задумала с ним разойтись и написала ему прощальное, разрывное письмо. Он находился тогда в госпитале, болел воспалением легких. Несмотря на запрет врача, приехал ко мне тотчас, подвергая себя опасности любого обострения. Не знаю, разошлись ли мы с ним тогда, или сошлись еще больше.

- Анна Андреевна ворчала на него, когда находила, что он плохо выбрал себе даму. "Но я не ворчу на него за выбор Вас."

- Аня Энгельгард была дикая, застенчивая девушка, когда он ее встретил. Она не могла и не умела сопротивляться его напору.

Мне Маргарита говорила: "Стихийное движение и стихийная косность".

- Как сказать - Вам дано, но что сказать - еще надо нажать.

Летом 1921 года, когда прошел слух об аресте Гумилева, Маргарита очень волновалась. Были предположения, что он бежал из тюрьмы и нахо-

дился на острове. В те месяцы в ее подвал приходил обаятельный артист театра Вахтангова, и она не могла от него отказаться.

Помнится: когда я узнала (говорит Маргарита), что в июле 1921 года он приехал в Москву, я была у друзей на даче, лежала на кушетке и при этом сообщении только повернулась на другой бок...

Что же еще вспомнить "о самой нежной, самой стройной"?

В ее низкую комнатку приходила подруга-медичка. В своем созерцании она говорила Маргарите: "Как он тебя любит..."

- Уж что может видеть она, ее способностям проникания - я не удивлюсь никогда, - поясняла Маргарита.

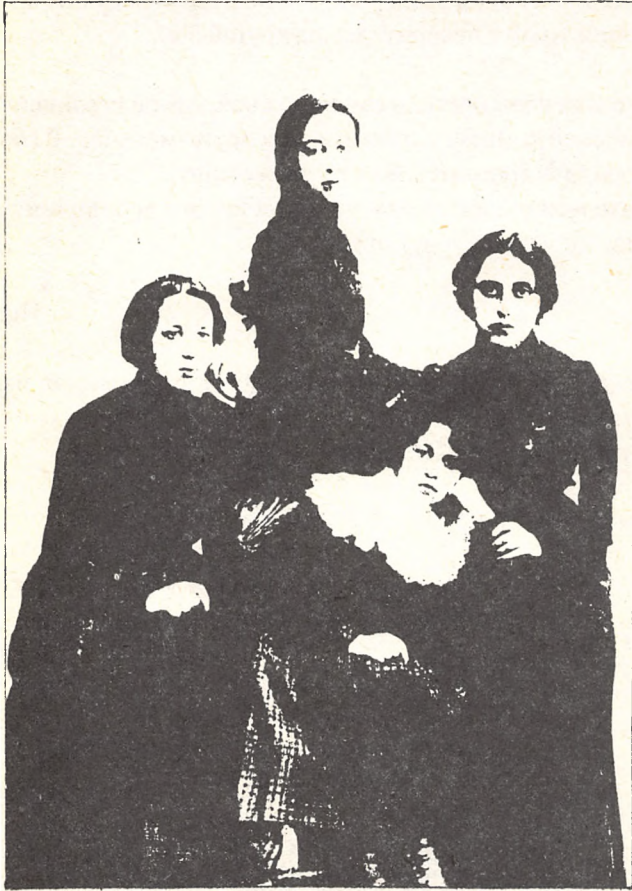
Июль 1970 г.

Привожу единственное стихотворение М.Тумповской, извлеченное в окрестностях.

Альманах "Дракон". Петроград. 1921 г.

З А К А Т

Могучий хвост купая в бездне вод
И в небе разметав блистательную гриву,
Он умирал.
Над ним небесный свод,
Подобие палатки прихотливой,
Коврами пышными и пухом райских птиц
Был тщательно разубран.
Мы ж во прахе
Простертые пред ним - лежали ниц.
И до сих пор в благоговейном страхе
Покоились, пока резец серпа
Не врезался в лазурь небесного герба.



Марьяна Козырева

МАРГАРИТА МАРЬЯНОВНА ТУМПОВСКАЯ

ЛЕВ СЕМЕНОВИЧ ГОРДОН

Маргарита Марьяновна Тумповская родилась 27-го декабря 1891 г. в Петербурге (Жуковская 14) в семье детского врача Марьяна Давыдовича Тумповского, где она была младшей из четырех сестер.

Две старшие: Лидия Марьяновна Арманд (по мужу) и Елена были членами партии эсеров (Лидия была в ней одним из ведущих лидеров). Младшие - Ольга и Маргарита - политикой не занимались, если не считать того, что при обыске полиция извлекла пачку листовок и мешочек с динамитом из-под матрасиков Магочкиных кукол (рассказ Е.М. Тумповской).

Маргарита окончила Стоюнинскую гимназию и Бестужевские курсы (даты не знаю). Лет в 13 - 14 вплотную увлеклась поэзией и, конечно же, стала писать сама. Вот стихотворение, написанное ею в 14 лет (после чтения Вальтера Скотта):

Барон умирает. Лежит он в постели,
Бессилен, угрюм, одинок.
Глаза его смотрят без смысла и цели
На белый немой потолок.

Сплетаются мысли, туманны и дики,
В ушах несмолкаемый стук.
Он слышит вдали полупьяные крики
И песни пирующих слуг.

Темнеет. Сливаются в массы предметы.
Никто не приносит огня.
И он умирает без ласки и света,
Не видя ни солнца, ни дня.

И в замке своем, как ребенок безродный,
Он в страхе трясется и ждет,
Что кто-то придет, молчаливо-холодный,
И в Вечность с собой уведет.

Разумеется, стихи эти и детские и подражательные, но все-таки в них уже, как в зернышке, есть многое из главных тем ее дальнейшего творчества. И ощущение иллюзорности, хрупкости окружающего нас материального мира, и даже "...полупьяные крики и песни пирующих слуг", вновь появившиеся в написанной ею в 1934 г. "Мистерии о Дон Хуане и Командоре"*.

Ощущение иллюзорности нашего мира, видимо родившееся в ней еще в детстве, не оставляло Маргариту всю ее не слишком долгую жизнь.

Маргарита входила в круг поэтов-акмеистов и, несомненно, находилась под сильнейшим влиянием Гумилева. Несколько стихотворений Николая Степановича посвящены ей. Но я боюсь утверждать с точностью, какие именно, так как Н.С. обладал не слишком удобным для биографов свойством: одни и те же стихи посвящать попеременно очередным дамам сердца. По свидетельству О.А. Мочаловой, это "Сентиментальное Путешествие" и "За то, что я теперь спокойный". Про второе я не слишком уверена (очень уж непохожа его лирическая героиня на мою мать), а про "Путешествие" думаю, что так оно и есть. И вот почему: я с детства помню одну строфу, не вошедшую, кажется, ни в один сборник (идет она сразу же за лангустом, вернее, за "если соком рейнских полей пряность легкая полита"). Вот она:

Низкий звук над землей летит,
Как трубы архангельской глас,
Это наш пароход гудит,
Это на борт зовет он нас.

Дальше идет "По утихнувшим площадям" и т.д.

Несколько стихотворений Тумповской напечатаны в журналах "Аполлон" и "Дракон". В том же "Аполлоне" (NN6 - 7 1917 г.) опубликован ее очерк о книге Гумилева "Колчан".

Друзьями Тумповской были в те годы (а кто остался жить, то и в более поздние) Мандельштам, Цветаева, Радлова, К.И. Чуковский (это те, о ком я помню). Да, Волошин тоже. С А.А. Ахматовой у нее были хорошие, дружеские отношения. И после гибели Гумилева А.А. сильно помогла Маргарите пройти сквозь это тяжелое время и поддержала ее, чем могла.

В 1927 г., приехав навестить в Ирбит свою ссыльную сестру Лидию, Маргарита познакомилась с моим отцом Л.С. Гордоном (тоже ссыльным) и вышла за него замуж.

*См. "Сумерки" N10 (ред.)

В 33-ем году и она и отец были арестованы. В тюрьме родился и умер мой младший брат Виктор.

После выхода на свободу (сравнительно быстрого - через год) матери удалось (насколько я знаю, при помощи Корнея Ивановича) получить более или менее постоянную работу переводчика при издательстве "Академия". Ею переведены: "Сон в летнюю ночь", "Ифигения в Авлиде" Расина, "Ученые женщины" Мольера, "Сутяги" Корнеля (я привожу список лишь полностью опубликованных переводов).

В это же время Маргаритой Марьяновной написана и главная работа ее жизни "Мистерия о Дон Хуане и Командоре", рукопись которой попала в мои руки несколько лет назад (я была уверена, что она пропала безвозвратно, но булгаковский принцип сработал и тут). Мне кажется, что в этой поэме наиболее полно отразилась та огромная напряженная духовная работа, которой жила моя мать при самых, казалось бы, неподходящих к тому внешних обстоятельствах. Так же непонятно, как уцелели и несколько сделанных ею иллюстраций к "Дон Хуану".

Умерла Маргарита Марьяновна летом 1942 года (6 июля) в эвакуации в Андигане.

Маргарита Марьяновна принадлежала к последователям Блаватской. Но, насколько я могу судить (в день ее смерти мне исполнилось 14 лет), ее очень отталкивала внешняя атрибутика многих последователей этого учения - столоверчение, медиумические явления и пр. Тем не менее, теософия действительно была ее религией. И у меня до сих пор хранится фотография юного (тогда) Кришнамурти, от которого она и ее друзья ждали грядущих откровений, как от нынешнего воплощения бога Кришны, от чего сам Кришнамурти, к их большой грусти, впоследствии (кажется, перед самой войной) наотрез отказался. Матери моей было иногда не просто с моим отцом, в те годы увлеченно работавшим над диссертацией, связанной с французским Просвещением.

Незадолго до своей смерти (мать отлично сознавала ее приближение и исподволь готовила меня к этому) она попыталась дать мне хоть приблизительное понятие о том учении, которого она придерживалась. И даже нарисовала для ясности (воспроизвожу ее по памяти) приблизительную схему восхождения души к Абсолюту. Души в периоды воплощения и инкарнаций движутся по спирали вверх, а некоторые, как скалолазы, впрямую; кто-то скатывается вниз, или, увлеченный соблазнами, задерживает свое восхождение. Это все, что я тогда восприняла (и, кажется, не много с тех пор к этому добавила). Как человек сугубо реалистический, я тут же

после маминой лекции стала немедленно прикидывать, не сможет ли некогда мной не виденный (но о существовании которого я уже знала) мой брат Витя за полным отсутствием грехов быстренько обернуться в инкарнации и родиться моим сыном. После чего мама рассмеялась и перестала меня просвещать (хотя я и теперь не совсем понимаю, в чем, с ее точки зрения, заключалась моя ошибка).

Несмотря (или благодаря) на крайнюю свою житейскую неопытность и некоторую отрешенность от окружающей ее действительности, в самые, казалось бы, страшные годы мать исхитрилась не поступиться ни единой крохой из того, что она считала верным. И, благодаря ей и отцу, я уже в восемь лет знала правду о нашей "великой эпохе" и ее "гениальном вожде" и избегла массового психоза, поразившего стольких из моих сверстников.

1990

* * *

Мой отец, Лев Семенович Гордон, родился в 1901 г. в Париже. С 1910 г. семья его отца вернулась в Россию. В 1918 г. из последнего класса гимназии Лентовской (теперь, кажется, школа N 46 Петроградского района) ушел добровольцем в Красную армию. Был ранен, попал в плен (считался погибшим), вернулся домой после окончания Гражданской войны.

Работал в торгпредствах СССР в Германии, Дании и Англии в качестве переводчика. Вернувшись в 1925 году, разумеется был арестован и выслан в город Ирбит, где и познакомился с моей матерью Маргаритой Марьяновной Тумповской, приехавшей навестить свою, тоже высланную сестру - Лидию Марьяновну Арманд, в прошлом одного из ведущих лидеров эсеров (и невестку Инессы Арманд).

По окончании срока ссылки отец работал переводчиком и механиком в гражданской авиации в поселке Удельная под Москвой. В начале 33-го года родители вновь были арестованы (мать - впервые). Мать была через год освобождена, а отец отбывал срок на строительстве Беломорского канала. Был освобожден в августе 1935-го года.

С сентября 1935-го года до начала войны работал преподавателем английского языка в Институте механизации сельского хозяйства в зерносовхозе N 2 (ст.Верблюд) под Ростовом. В 40-ом году окончил за год экс-

терном филологический факультет Ростовского университета и начал работу над диссертацией ("Вольтер и его время").

В начале войны отец ушел на фронт (выучив наизусть проверочную таблицу и тем скрыв от медкомиссии дикую свою близорукость). В конце 42-го года после ранения был демобилизован.

После войны работал в ГПБ им.Салтыкова-Щедрина в отделе Редкой Книги, совместно с В.С.Люблинским и Н.В.Варбанец принимая участие в работе над каталогом библиотеки Вольтера. В 1948 году защитил кандидатскую диссертацию.

16 ноября 1949 года был вновь арестован. После длившегося год следствия (отец отказывался подписывать какие бы то ни было показания) был отправлен в Тайшетский лагерь.

После реабилитации (в 1956 г.) преподавал историю сначала в Пермском, а затем в Саранском университете. В 1969 г. в Москве при Институте Истории состоялась защита его докторской диссертации: "Левое крыло французского Просвещения" (о французских самиздатчиках XVIII в., как выразился Е.Г.Эткинд). За это время им был написан целый ряд научных работ, опубликованных частью у нас, а частью во Франции и в Германии. По ходатайству дирекции ГПБ продолжал работу над каталогом Вольтера.

Умер Л.С.Гордон 6/VII - 1973 г.





Лев Гордон

МАРГАРИТЕ

Когда струится на ночные крыши
Холодный и голубоватый свет,
А ропот города все глуше, тише, -
Приходит та, которой не услышу,
Приходит та, которой больше нет.
Как через ров, через года разлуки
(О, не спугнуть бы появленье сна!)
Прохладные, еще живые руки
Протягивает молча мне она.
Притихшие, без мысли и без цели
Мы отправляемся бродить вдвоем
В огромный и открытый оком,
На свежий луг, по звездам асфodelей.
И солнечная даль встает, светла...
- Ты вырвала отравленное жало,
Ты никогда меня не покидала,
Ты тайно за руку меня вела.
Пусть я порой еще не понимаю,
Куда меня ведет мой тихий друг,
Пусть этих троп запутанных не знаю,
Мне не знаком росистый этот луг,
Где мы скользим, не разнимая рук,
Пусть ты к утру развеешься туманом,
И я проснусь - в который раз! - один,
Но принял я залогом необманном
Морщины острые и блеск седин, -
Знак, что свиданье с каждым днем все ближе,
Пусть я не знаю, через сколько лет
Я встречу с той, кого сейчас не вижу,
Увижу ту, которой больше нет.

13.11.47

I

Свободен навсегда, зэка лежит.
Он мог состариться, но хлопнул выстрел.
Он мог бы убежать, - не убежит.
Он мог бы срок тянуть, а кончил быстро.

Конвойный ухмыляется. Он рад:
Он воин бравый, бдительный и меткий.
Дурак, конечно, сам был виноват, -
Зачем нестати подошел к запретке?

Как нынче просто все! Без лишних слов
Составлен акт - мол, вскрыли и зашили.
Лишь номер со спины и со штанов
Чернеет нагло на его могиле.

2

Взявшись за руки по пять,
Волоча свинцово ноги,
Мы плетемся по дороге
Под конвойный "расpromать".
И в пыли, в поту, в чаду
В общем строе я иду.
И мечтаю о бараке,
Где хоть нары я найду,
Где усну в полубреду -
Нумерованный покойник
В нумерованном аду.

нач. 1950х

Не знаю, то или нет,
И так ли это зову,
Но помнишь в недолгом сне
И бредишь о нем наяву.

Еще не рожденный, он
Душою томит меня,
Но труден его закон,
И мне его не понять,

Не определить числом,
Не вызвать заклятем в мир,
И прах отмирающих слов
Облик его затмил.

И грудой грубых камней
Рухнул неверный стих...
Стих, приснившийся мне,
Не созданный мной, - прости!

1946-47



СКАЗКА

ПРО ВАСЬКУ НЕМЕШАЕВА –

ПИТЕРСКОГО ВОРА

На Фонтанкиной улице, дом 32 (третий двор налево), что возле бывшего дома графьев Шереметевых, жил да был Васька Немешаев - Питерский вор.

Вот раз апосля фарту-удачи идет он по Невскому, а навстречу гроб везут с упокойником. А граждане сопровождающие идут рядом и по гробу палками колошматят. Удивился Васька.

- За что ж вы его так, а?

А граждане сопровождающие объясняют, что упокойник должен остался тыщу рублей.

- Только-то и делов? - спросил Вася.

Отдал им Вася тыщу рублей, захоронил покойничка чин чинариком, сидит со своей марухой, чаек попивает вприглядочку; маруха его ругает на чем свет стоит!

Только вдруг дверь открывается, добрый молодец является, кудри русые по плечам бегут.

- Ты, - говорит, - будешь Васька - Питерский вор?

- Ну я, - отвечает Василий (а сам за шпалер)...

- А я, - говорит добрый молодец, - есть Ванька - Деревенский вор. И хочу я к тебе идти в сотоварищи.

- Ну садись, коли так, не обессудь на угощении.

Вот и стали они вместе жить. На другой день идут они в Пассаж, пошмоняли маленько. Затем к Елисееву: перцовочки, тюльку в томате, лимончиков - и в Шувалово. Сидят, солнышко светит, птички поют...

Только вдруг на сосне Попугай-птица загукала! Вынимал тут Ванька Деревенский вор свой тугой лук, пуцал в Попугай-птицу! Убил Попугай-птицу!

- Лезь, - говорит, - Вась, на сосну, посмотри, что у ней там в гнезде. Полез Вася.

- Ключи, - говорит, там у ней какие-то.

- А не простые то ключи, друг Васечка, а Попугайные! Кидай их сюда.

Кинул Вася.

- А еще что там есть?

- Еще клубок какой-то.

- А не простой то клубок, друг Васечка, а Попугайный. Тащи его сюда, да слезай по-быстрому!

Слез Вася. Перцовку быстренько допили, тюлечкой с лимончиком закусили - и в город, к Государственному банку. Идут, прогуливаются. А возле банка часовой туды-суды ходит.

- А дозвольте, - говорит Ванька Деревенский вор, - гражданин начальничек, середнячкам несознательным на зданию такую красивую любопытствовать.

- Нечего, - отвечает часовой, - тебе, деревенщина, любопытствовать. Тут учреждения казенная.

Тут Ванька червончик достает, часовому показывает. А на червончике, известное дело, надпись: " Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Часовой оглядывается по сторонам, червончик берет и говорит:

- Ладно, перелетайте, раз такое дело, и соединяйтесь. Да только по-быстрому!

Ванька с Васькой через стену перелетели, соединились - и на крышу. На крыше Ванька Попугайными ключами обвел - дыра и открылась. Ванька клубок достает, Ваську за пуговицу привязывает...

- Лезь, - говорит, Вася!

- А как оборвусь?

- Не бойсь, друг Васечка! Не простой то клубок - Попугайный!

Полез Вася. Ваня за ним. Сейфы, какие есть, все дочиста. На крышу. Перелетели, соединились. И к себе - на Фонтанкину улицу 32, что возле графьев Шереметевых, третий двор налево. Марух назвали, пьют, гуляют!

А на другое утро Зиновьев проспался и пошел к себе в Государственный банк доглядеть - как там и что... Глядь - в крыше дыра, а под дырой сейфы - все как есть чистые!

Ух и рассердился Зиновьев! По Смольному сам себе навстречу бегаёт! Кличет он своих красных командиров к себе.

- А привести, - кричит, - ко мне сей момент Федьку - Санкт-Петербургского вора, живо!

А Федька этот у Зиновьева для всякого случая еще с царских времен

в подвале сохранялся. Привели к нему Федьку (а у того по плешу уже и грибы растут). Сажает его Зиновьев в броневичок, везет к Государственному банку, показывает

- Э-э! - говорит тут Федька-Санкт-Петербургский вор, - не простой тут вор, видать, работал, а с Попугайными ключами. И ловить его, Зиновьев, надоть не иначе, как на Именного Коммунистического Козла с Золочеными Рогами.

Так и сел Зиновьев!

- Это ж откуда ты про такое слышал?!

- Да уж прослышамши...

Ну-с, скоро сказка сказывается, еще быстрее дело делается, только идут на другой день Васька с Ванькой гулять. Только на Невский поворотили, глядь: музыка играет, ведут по Невскому Именного Коммунистического Козла с Золочеными Рогами. А позади - Милиция, Юстиция, Прокуратура, Провокатура. И Живая церковь сзади!

Так и ахнул Васька!

- Ой! Мне б такое!

- А чего ж, - говорит Иван, - это нам запросто. Шапку сымает и кланяется.

- А дозвольте, - говорит, - граждане начальнички, середнячкам незознательным на диву такую дивную полюбопытствовать.

Милиция с Юстицией переглядываются, мигают друг дружке.

- Чего ж, - говорят, - любопытствуйте, коли охота (а сами смотрят - чего, мол, будет?)...

- А может, - говорит Иван, - и в гости, туточки за уголок только поворотить, не откажетесь, да чем Бог послал и перекусить маленько?

- Что ж, - отвечают Прокуратура с Провокатурой, - чего ж не зайти, можно и зайти (а от Зиновьева им приказ даден: звать кто будет, идти беспрременно!).

Пошли. Поворотили, значит, на Фонтанкину 32 (третий двор налево) - и Милиция, и Юстиция, и Прокуратура, и Провокатура. И Живая церковь сзади. Козла в сарайчик, сами за стол; Ваня с Васей им первачок подливают...

А маруха ихняя промеж тем шасьт в сарайчик! Козла зарезала, рога под замок, шкурку на гвоздик, козла в гусятницу, да и на стол подает.

- Не побрезгуйте, дорогие гостички, на угощении, откушайте козлятинки.

Гости едят, а сами переглядываются - ну-ну, что, мол, будет? Поели, поблагодарили и вон. А сами на воротах мелом пометку сделали: "Мы здесь были, козлятину ели!" И к Зиновьеву!

А Васька с Ванькой - не будь дураки - следом вышли. Глядь - на воротах надпись: "Мы здесь были, козлятину ели!"

Ну, скоро сказка сказывается, еще быстрее дело делается, часу не прошло, идет Зиновьев Ваську с Ванькой брать. С ним Милиция и Юстиция, Прокуратура, Провокатура. И Живая церковь сзади. Глядь, а на воротах надпись: "Мы здесь были, козлятину ели!"

- Ага! - кричит Зиновьев. - Попались, голубчики!

Только вдруг видят: и на этих воротах то же самое, и на тех, и на бывших графьев Шереметевых... Куда ни глянешь, везде сплошная козлятина. Ух, и рассердился Зиновьев, по Смольному себе навстречу бегают.

- Позвать, - кричит, - ко мне Федьку-Санкт-Питерхбургского вора сей момент!

Привели Федьку.

- Ты что ж, контра окаянная, ни за что ни про что партийную животину зазря загубил, а?!!!

- Э-э, - говорит тут Федька-Санкт-Питерхбургский вор (и по плечи чешет). Не простой тут вор, видать, работал, а битай. И ловить его надобно не иначе, как на Бочку с патокой. А ты, Зиновьев, не колготись, а делай, как я велю.

Ну и научил, как и что.

Ну-с, много ль времени прошло, я не ведаю, а только деньги у Васьки с Ванькой вскорости все повывелись. И не иначе им выходит, как сызнова идти Государственный банк брать.

Пришли, значит. Червончик вынули, перелетели, соединились. Попугайны ключи поднесли. Дыра открылась. Полез Вася. А у Зиновьева в те поры, как Федька его научил, под дырой Бочка с патокой стоит заготовленная. Васька в нее и угодил.

Видит Ванька: дело плохо. Полез следом. Из-за голенища вострый нож достает, буйну голову Ваське с плеч сымает, в мешок кладет, сейфы счищает и к себе - на Фонтанкину улицу 32 (третий двор налево). Голову достает, в банку с брусничным вареньем кладет для сохранности. Бумажкой прикрыл, веревочкой завязал и на полочку.

А Зиновьев на утро идет в Государственный банк. Глядь: Дыра. Под дырой Бочка с патокой. А в Бочке с патокой - Безымянное тулово при чаше и цепочке, ни головы, ни документов нет.

- Позвать сюда Федьку сей момент! - кричит Зиновьев.

Привели Федьку.

- Э-э, - сказал тут Федька-Санкт-Питерхбургский вор. - Да. Не простой тут вор, видать, работал, а со товарищем. И ловить их, Зиновьев, надо так вот и так.

Ну и научил.

А на другой день вышел Ванька доглядеть, как, мол, и что. Глядит: возле Троицкого моста, что у памятника бывшему графу Суворову, Бочка с патокой стоит на постаменте. А вокруг Двенадцать Красных Командиров ходют, в ладоши бьют, ногами топают.

Ну тут Ванька обратно на Фонтанкину улицу 32 (третий двор налево), лошадку запрягает, самогончика бочечку на саночки - и к мосту. Доехал до моста, а на мост - ну никак - гололед с гололедицей. Тут он шапочку сымает и кланяется.

- Помогите, - говорит, - граждане начальнички, середнячку несознательному. А уж угощеньице, само собой. Первачок-первый сорт, слеза, а не первачок.

Двенадцать Красных Командиров переглядываются - как не помочь (а мороз лютый, шинелишки худые, сапожки тонкие)?..

Ну-с, много ль времени прошло, аль не много, я того не ведаю, а только идет Зиновьев доглядеть, как там и что. Глядит: лежат мои Двенадцать Красных Командиров звездой - ножки вместе, головки врозь, а Бочки с патокой и след простыл!

Ух и рассердился Зиновьев! По Смольному себе навстречу бегаёт, волосья повсюду рвет, сердешный. Убивается.

- Позвать, - кричит, Федьку, туды его растуды!!!

- Привели Федьку. Развел руками Федька.

- Да, - говорит, - Зиновьев, не иначе промашка у нас с тобой вышла.

Ну, Федьку, само собой, в подвал на замок. А делать-то что? Делать нечего.

А Ванька в те поры быстрым ходом на Фонтанкину улицу 32 (третий двор налево), баночку с полки снимает, голову достает, тряпочкой обтер, к тулову приложил, Попугайными ключами обвел - ожил Вася.

- Тьфу, - говорит, - какая сласть снилась!

Ну и стали они дальше жить. День живут, два живут. Только видит Ваня, что друг его Васечка скушен, не весел, ниже плеч буйну голову повесил.

- Чтой-то ты, друг Вася, заскучал? Говори, не таись.

Тут Васька плачет, заливается, горячими слезами обливается.

- А то я заскучал, друг Ванечка, что покамест я у тебя в банке с брусничным вареньем содержался, такая мне сласть приснилась, что и сказать нельзя.

- А и что ж тебе приснилось, друг Васечка?

- А будто у Зиновьева за семью замками, за девятью печатями от царского режиму Краса-Царевна сохраняется.

Задумался Иван.

- А что, - говорит, - есть такая царевна.

Еще пуще Вася убивается.

- Ой, Ваня! Жизнь мне не мила без этой царевны!

- Чего ж, - говорит Иван, - а Попугайны ключи на что?

Ну-с, скоро сказка сказывается, еще быстрее дело делается, только на другое утро Краса-Царевна просыпается, а над ей добрый молодец склоняется, в уста сахарные ее целует. Быстрым манером на Фонтанкину улицу 32 (третий двор налево), да честным пирком и за свадебку.

Пьют, гуляют! Вот уж и полночь. Петух с цирку Чинизелли за рекой поет... Только вдруг встает Иван.

Вася кричит:

- Ваня! Друг! Выпьем.

А Иван головой качает и говорит - глухо так (а с лица как вроде и не с а м):

- Пора мне, Вася.

Василий даже протрезвел маленько.

- Куда это пора?

(А Царевна и вовсе глазами лупает).

- На Смоленское.

- На како тако Смоленское?

- А помнишь, - говорит Иван, - упокойника, которого ты от долгу ос-
лобонил?

- Ну...

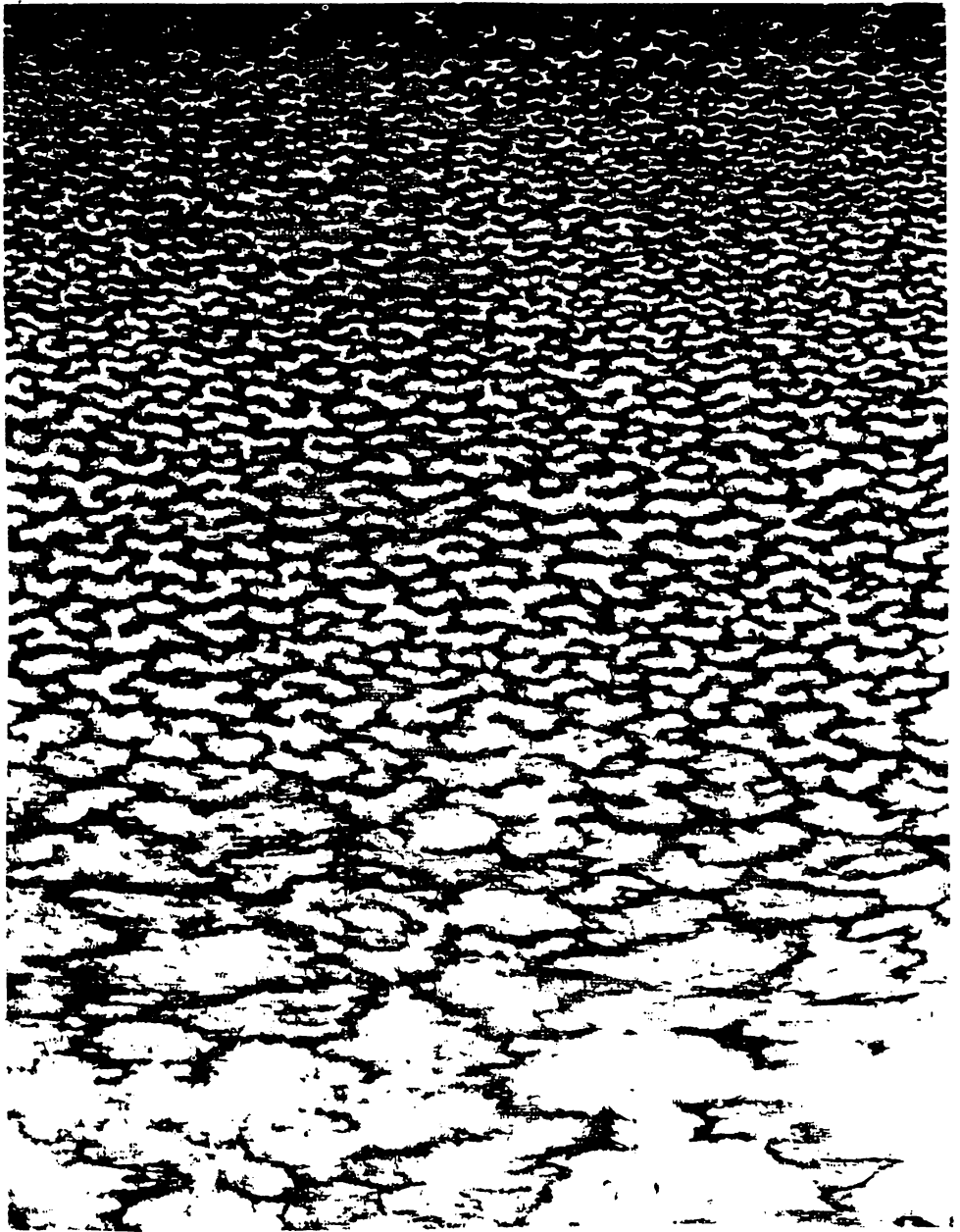
- Так это вот я и есть.

Сказал и сгинул.

(Сказка записана М.Л.Козыревой со слов
Л.С.Гордона, слышавшего ее от беломоро-
канальских урок.)



***НЕ ГОРОД РИМ
ЖИВЕТ
СРЕДИ ВЕКОВ...***



Дмитрий Григорьев

ДОРОГА ВДОЛЬ БЕРЕГА

* * *

Трегилую колюшку рыбаки на Шкиперке называют кабздой. Хотя взрослые рассказывали об окунях и лещах, на наши самодельные удочки ничего кроме кабзды не попадалось. Пленка мазута уже тогда плавала на поверхности Ковша, ее радужная окраска напоминала окраску чешуи колюшки, казалось, они - одной природы. Колюшка водилась везде, даже около берегов свалки.

- Мусорная рыба, - говорил Юрка, - коты, и те ее не едят.

А свалка жила. Мертвая свалка зарастает травой и ивовым кустарником. Живую свалку можно узнать по облакам чаек и ворон (на свалке почти нет голубей: удел голубей - городские помойки), по черным кучам и неприятному запаху; хотя пищевые отходы складывали отдельно - люди свалки обходили это место стороной.

Сердцем свалки на Шкиперке была огромная телевизионная гора, опоясанная забором и колючей проволокой. Туда привозили собранные у населения старые телевизоры, выгружали, а затем давили их трактором. Мы смотрели сквозь щели на этот неравный бой. Кинескопы взрывались, как снаряды, заглушая рокот мотора и крики рабочих. Взрослые часто приобретали отслужившие свой срок, но исправные телевизоры, видимо, как и везде, за бутылку. Мы же воровали радиодетали. Поначалу, они были просто красивыми, непонятными игрушками, потом я научился немного понимать их назначение (что такое ПТК, зачем нужны диоды, конденсаторы, резисторы и транзисторы), даже научился читать схемы. Неэлектролитические конденсаторы мы стали использовать как оружие: на школьных перемычках заряжали их в розетках, а потом "дергали" друг друга.

Там, где пластмасса - то залив,
кусок резины - просто гавань,
ботинок старый на мели,
бумаги лист - возможный парус,
и чаек крик.. "Вы чьи, вы чьи?"

.....



- Ребя, смотри, е...ся...

- Да где?..

- Вон, вон, около лодки на берегу... Пошли ближе...

Они перебежали поверху от кучи к куче. Что было видно?.. Ничего...
Две полуобнаженные фигуры на берегу, так далеко, что невозможно разоб-
рать, где мужчина, а где женщина.

- Протри очки, профессор, пошли ближе...

Они подкрались ближе, еще ближе, но небольшой камень из-под но-
ги Вовки покотился по насыпи, туда где лежали любовники, и мальчишки
разбежались в разные стороны - так расходится круг от брошенного в воду
камня.

А бегали они часто: бегали от сторожей и собак, охранявших лома-
ные телевизоры, бегали от милиционеров, устраивающих иногда облавы
(разумеется, не на детей). Но свалка умела прятать своих маленьких лю-
дей: в излучины берега, в старые ящики, в щели между гаражами. Свалка
научила их курить. Они курили длинные, как макароны, сигареты - не-
разрезанные отходы фабрики им. Урицкого, иногда попадались сигареты с
фильтром (видимо, из-за дефекта упаковки выбрасывали всю пачку).

- Пришел, помоечник, - говорила ему мать, сокрушенно оглядывая
грязную школьную форму, - сам чистить будешь, вот тебе щетка, и чтобы
ни пятнышка...

Она не делала различия между помойкой и свалкой, а он не любил
помойки, даже мусорное ведро выносил нехотя, с брезгливостью, а однаж-
ды взорвал помойку в соседнем дворе. Его поймали и поставили на учет в
детскую комнату милиции, таким образом уравнив в правах с остальной
дворовой компанией - многие ребята состояли в той комнате не первый год.

С тех пор помойки начали ему мстить. Куда бы он ни переехал, под
его окнами всегда оказывались мусорные бачки, неприятный запах и мухи
поднимались и проникали в его комнату. Ведро с пищевыми отходами на
лестничной клетке (именно его этажа) было либо переполнено, либо опро-
кинуто, и, спускаясь в темноте, он часто попадал ногой в липкую жижу.

Со стороны семнадцатой линии, выворачивая кресты, ломая деревья, на Смоленское кладбище наступал завод, и оно бежало к старой узкой Смоленке (часть могил ушла под воду); но вскоре на противоположном берегу появились огромные корпуса какого-то военного института. Мешало властям это кладбище почти в центре города. Не убивали его, быть может, потому, что там находилась могила матери Косыгина. По-настоящему за кладбищем начали ухаживать несколько лет назад, перед канонизацией петербургской Святой Ксении. Раньше в ее часовне находился то ли склад, то ли чья-то мастерская, а вокруг пестрели размокшие конфеты, пряники, яйца и сотни записок: "Ксения, помоги вернуть мужа", "Ксения, помоги сдать экзамен", "Ксения, помоги..." Старые и молодые женщины шли к своей заступнице через заброшенную, заросшую ивой и березой половину кладбища, где мы лазали по деревьям и десятки раз убивали друг друга из игрушечных автоматов. Один раз на берегу Смоленки Валька нашел плот: видимо, рабочие, строившие набережную, привязали его непрочной веревкой. Я сбегал домой за продуктами и оставил записку: "Мама, не волнуйся, мы с Юрой и Валей отправились в путешествие". Доски были нашими веслами, а высохшая ветка - мачтой. Юра очень хотел в Африку. Африка тогда была близко. Однако за кладбищем нас поймали какие-то дядьки и отобрали плот. Я вернулся домой раньше родителей, так и не побывав в Африке.



На берегу реки Смоленки -
плакучие ивы,
и дорога вдоль берега
приводит к заливу.

А дальше...дальше - Берингом,
в игрушечную Японию, в нарисованную Америку,
вслед за птицами на тепло...

Много воды утекло,
пока выросли эти ивы.



На мой тогдашний взгляд, мы капитально подготовились. Юрка достал фонарик, а я - гвоздодер и лопатку, принесенные отцом для дачи. Завернув все это в газету, мы отправились во дворец (тогда я не знал, что "дворец" - старая армянская церковь) искать клады. Со стороны дороги дворец был отгорожен решеткой и забором, а со стороны кладбища - только забором. Поэтому мы прошли через кладбище, влезли на забор и оттуда - на крышу большого сарая. Сарай и дворец разделял дворик, заваленный досками.

- Отлично, - сказал Юрка, - здесь мы слезем. Но сначала посмотрим, что внутри.

Между крышей и боковой стенкой сарая было небольшое, но вполне проходимое отверстие. Я присел на край и вгляделся в полутьму. Свет проникал сквозь щели, и в глубине угадывалась фигура огромного человека, наполовину ушедшего под землю. Он стоял вполборота и смотрел в мою сторону. Я запомнил усы на его лице, рассеченном вертикальной световой решеткой. А внизу, прямо под моими ногами, была бетонная овальная площадка с овальным же отверстием посередине. Она была похожа на верхнюю часть большой каменной вазы. Чуть пониже отверстие разделялось на две норы, два колодца, полные темноты. Я встал на край. Это же ноги - дошло до меня, вторая половина статуи.

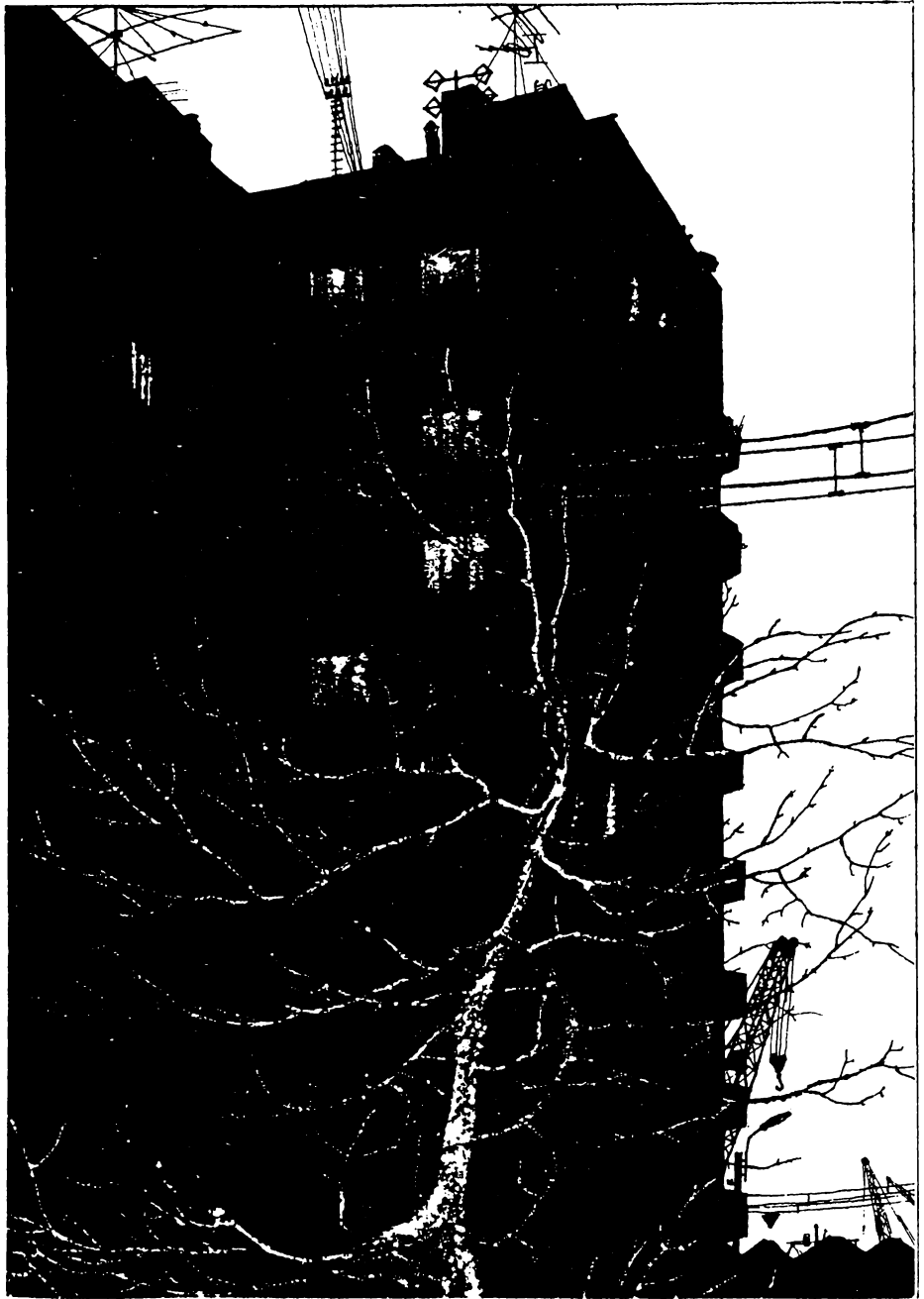
- Слезай, - шепнул я Юрке, - тут статуя. Он подал гвоздодер, затем лопатку, затем появился сам...

- Ух ты... - В это время внизу раздался шорох...

- Сека! - выдохнул Юрка и полез обратно на крышу. А я, неосторожно развернувшись, провалился в одну из штанин. Гвоздодер выскользнул из моей руки и со звоном отскочил в другую. Мне повезло: в мою штанинину были сброшены какие-то фанерные ящики, поэтому летел я недолго и провалился неглубоко. Почти без труда, используя лопатку как опору, я сумел выбраться. И тут ужас охватил меня: показалось, что огромное лицо, белеющее в глубине сарая, медленно приближается. Забыв о гвоздодере, я выскочил на крышу и почувствовал себя спокойно лишь на берегу Смоленки.

Кто это был? Сталин? Через много лет я услышал песню Галича "Ночной дозор" и сразу представил, как они шагают, памятники бывшему вождю (и бьют барабаны). Лишь один, из серого став красным, крушит каменными кулаками сарай, но шагу ступить не может: мой гвоздодер, словно большой гвоздь, словно заноза, - мешает.





"Голодай - голод. Петербург построен на костях народа - бесправного и голодного. А больше всего голодали на островах. Один из островов так и назвали - Голодай."

Бабушка часто гуляла с ним вдоль берега острова Голодай. Это был праздник, чудесный, как облизанные волнами цветные стекляшки среди серой и розовой гальки. Потом на берегу выросли гаражи и дома. Тогда он уже знал, что остров назвали Холидей (английское - праздник), но Холидей быстро обрусело и превратилось в унылое - Голодай. А после революции - в остров Декабристов. Потому что здесь казнили декабристов. (Хотя бабушка ему говорила, что здесь похоронены..., но он тогда не различал).

"Сразу за пляжем, за рядом невысоких тополей, мужики-колодники в рваной одежде построили деревянный помост (удивительно похожий на сцену паркового театра) и подняли пять виселиц, пять больших деревянных букв "Г". Когда все было готово и веревки качались в ожидании жертв, со стороны города послышалась музыка. Она становилась громче, еще громче, наконец, появились барабанщики, за ними шествовали остальные музыканты, всадники, кареты с генералами, затем пешие войска в парадных мундирах. (Эта процессия очень напоминала первомайскую демонстрацию.)

После войска ехал царь со свитой, дальше зрители: мужчины в котелках, женщины в платьях, напоминающих бутылки, такое платье носила старинная кукла, жившая на бабушкином шкафу. Вот музыканты перестали играть, все разместились вокруг помоста, и наступила тишина...

Но через несколько секунд снова дробно застучали барабаны. На помост, как на сцену, вышли пять стройных молодых людей со связанными за спиной руками и пять плечистых приземистых палачей в красных, закрывающих лицо колпаках с прорезями для глаз. Под петлями стояли табуретки, и осужденные, мужественно глядя в толпу, взошли на них. Барабанщики застучали громче. За спиной зрителей грозно зашумело море. Внезапно звуки оборвались. И толстый низенький генерал прочитал с немецким акцентом: "Вы хотите свободы, вы хотите убить царя, вы должны умереть!". В третий раз ударили барабаны, палачи выбили табуретки из-под ног декабристов, и те повисли. Но ненадолго: веревки лопнули, тела упали, с грохотом проломив помост. (Тогда он был уверен, что гнилые веревки специально подсунули друзья декабристов). Он видел, как разоча-

рованно расходилась толпа. Уезжали генеральские кареты, а декабристы лежали под помостом, кусая губы от боли. Ветер усиливался. Море гремело, словно прогоняло свидетелей казни. Когда на берегу никого не осталось, подъехала большая черная карета. Оттуда вышел Пушкин и его друзья, они вытащили из-под обломков раненых товарищей и увезли их за границу".

Буквально через полгода родители показали ему "настоящее" (у музея артиллерии) место казни. Но это было через полгода.

На острове Декабристов, недалеко от трамвайного кольца, - маленькая каменная стелла. Несколько лет она находилась в окружении куч строительного мусора, толстой проволокой к ней была привязана консервная банка, а в банке стояли цветы. Сейчас идут споры: кто считает, что декабристов похоронили на острове Голодай, кто считает, что на маленьком острове Гоноропуло, а я считаю, что не так это важно - земля-то одна.



Деревья держат музыку,
А мы идем по кладбищу,
Могилы-лодки уплывают на восток,
А мы читаем надписи
И все идем по кладбищу...

- Скажи мне, где наш дом?

Кресты, и в сердце каждого
Есть имя и фамилия,
А иногда лишь дерево
Над смоляной водой...

- Скажи, когда окончится
Дорога через кладбище,
Скажи мне, где наш дом?

А ветер ветки трогает -
- Не умолкает музыка,
Она совсем не скорбная,
Послушай, как поет
Живое это кладбище:
Мы ведь давно пришли.



Есть в ежедневном замыкающемся кругу времени, бесконечной цепи светлых и темных часов - один, самый смутный и неопределенный, неуловимая грань ночи и дня. Перед самым рассветом есть час, когда пришло уже утро - но еще ночь. Нет ничего таинственнее и непонятнее, загадочнее и темнее этого странного перехода ночи в день. Пришло утро - но еще ночь: утро как бы погружено в разлитую кругом ночь, как бы плавает в ночи. В этот час, который длится, может быть, всего лишь ничтожнейшую долю секунды, все - все предметы и лица - имеет как бы два различных существования или одно раздвоенное бытие, ночное и дневное, в утре и в ночи. В этот час время становится зыбким и как бы представляет собой трясину, грозящую провалом. Ненадежный покров времени как бы расползается по нитям, разлезается. Невыразимость скорбной и необычной таинственности этого часа пугает. Все, как и утро, погружено в ночь, которая выступает и обозначается за каждой полосой полусвета. В этот час, когда все зыбко, неясно и неустойчиво, нет теней в обычном смысле этого слова: темных отражений освещенных предметов, отбрасываемых на землю. Но все представляется как бы тенью, все имеет свою ночную сторону. Это - самый скорбный и мистический час; час провала времени, раздирания его ненадежного покрова; час обнажения ночной бездны, над которой вознесся дневной мир; час - ночи и дня.

/Л.С.Выготский/



Редакция: Алексей Гурьянов,
Александр Новаковский (ответственный редактор номера).
При участии Ирины Брондз, Аллы Измаильской, Арсена Мирзаева.
Фото: Александр Клопов.
Компьютерная верстка: Александр Магатаев.
Художник номера (оформление, иллюстрации, макет):
Владимир Барсуков.

По всем вопросам обращаться: Ленинград, 197136, а/я 48.
Выпуск номера осуществлен при поддержке СКО "Нева"
Союза кинематографистов Российской Федерации.
"Издательский дом Александренко".

Представитель журнала за рубежом - Veronica Ahrens-Pulawski, Globus
(A Slavic Bookstore) 332 Balboa street, San Francisco, CA 94118 USA.
Tel. (415)-668-4723.



ISBN 5—7282—0004—4

Издание осуществлено издательско-коммерческой фирмой
«Водолей» совместно с санкт-петербургским филиалом журнала
«Юность».

Отпечатано с оригинал-макета. Заказ 1446. Тираж 5000. Формат 60×90¹/₁₆.
Объем 11,5. Цена договорная.

ПО-3, 191104, Санкт-Петербург, Литейный, 55. .

